

Spiegel der Geheimnisse
unabhängige
russischsprachige Zeitschrift
für Kultur und Politik
mit ausgewählten Beiträgen
in deutscher Übersetzung
Berlin 1998 6,90 DM

Зеркало Загадок

Культурно-политический журнал

Реплика с места
Ф. Горенштейн

**Пресса русской
эмиграции и
национал-социализм**
И. Полянский

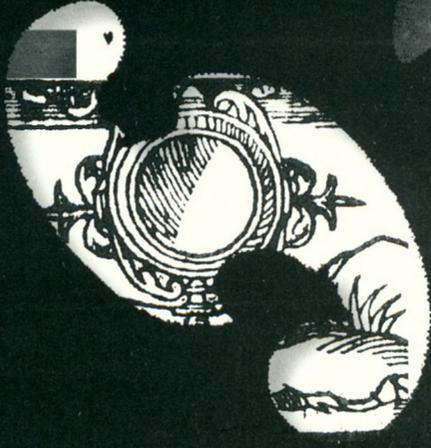
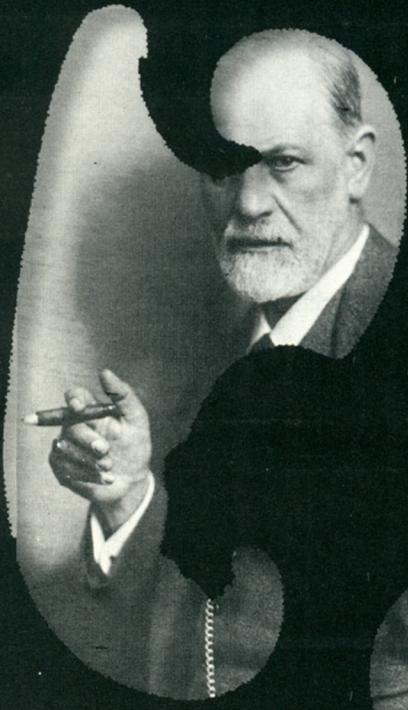
**Русско-немецкий
счёт**
Л. Аннинский

Ветер изгнания
Б. Хазанов

О Булате Окуджаве
Л. Лазарев

Эрос в штатском
В. Демидов





Зеркало Загадок

ЗЕРКАЛО

Пресса русской эмиграции и
национал-социализм (1933-1944)

“А музы не молчали...”
Игорь Полянский
Русско-немецкий счёт
Лев Аннинский

2

6

14

18

Гармония или свобода
Александр Мелихов

ПРОГУЛКИ ПО БЕРЛИНУ

20

“Слова, слова, слова...”
Мина Полянская, Маттиас Шварц
Берлин И.С. Тургенева

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО

Ветер изгнания
Борис Хазанов

27

“Сто знацит?”

30

Кладбищенские размышления Фридрих Горенштейн

Рукою Пушкина...

39

Надежда Брагинская

Тайна погоста в Ручьях

41

Юрий Дружников

О переводе

46

Эльке Эрб

Первые заметки 20 лет спустя

ВОСПОМИНАНИЯ

49

“Я строил замок надежды”
Лазарь Лазарев О Булате Окуджаве

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

52

“Знаю дела твои...”
Гоча Берия О Пергамском алтаре

СТРАНИЦА ПОЭЗИИ

54

Виктор Шнейдер
Генриетта Ляховицкая
Леонид Бердичевский

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Эрос в штатском
НКВД и психоанализ Вячеслав Демидов

55

О происхождении фамилий
русских евреев. Очерк первый.
Вадим Тарлинский

57

СПОРЫ В РЕДАКЦИИ

Старый призрак в новых одеждах
Маттиас Шварц

59

Редакция:

главный редактор
Игорь Полянский
литературный редактор
Мина Полянская
ответственный секретарь
Иосиф Малкель
технический редактор
Борис Антипов
администратор Яна Кириллова
макет, оформление Павел Свердлов
Корреспонденты:

Иерусалим: Соня Бабкова,
Митя Горошевский

Редакционная коллегия:
Надежда Брагинская (Нью-Йорк), Томас Габлер,
Маттиас Шварц (Берлин).

Переводчики: Елена Свердлова
Маттиас Шварц

Zerkalo Zagadok

(Spiegel der Geheimnisse)
unabhängiges russischsprachiges
Magazin für Kultur & Politik,
Berlin, April 1998;

Redaktion:

Chefredakteur Igor Polianski, verantwortlicher
Sekretär Iosif Malkiel, Literaturredakteurin Mina
Polianski, technischer Redakteur Boris Antipov,
Werbung und Anzeigen Jana Kirillova
Gestaltung Pavel Sverdlov

Übersetzungen: Elena Sverdlova, Matthias
Schwartz

Redaktionsbeirat:

Nadeschda Braginski, Thomas Gabler, Matthias
Schwartz;

Korrespondenten:

Jerusalem: Sonja Babkova, Mitya Goroschewski
Support Agentur Gabler & Lutz GbR, Типо-
графия/Druck: IPK Biont, St. Petesburg
In Zusammenarbeit mit der Stiftung
“Russische Bibliotheken”

Redaktionsadresse:

Zerkalo Zagadok, Torstr. 7 B2,
10119 Berlin;
Tel./Fax (030) 441 03 48 (59);
Im Verlag der Support Edition,
Postfach 610378, 10926 Berlin.

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов
публикаций. Рукописи не
редактируются и не
возвращаются.

Перепечатка только с указанием
источника. / Bei namentlich
gezeichneten Beiträgen liegt die
Verantwortung bei den Autoren.

© bei “Zerkalo Zagadok”

ISSN 0949-2089

DEUTSCHE KURZFASSUNGEN

- 8 “Doch die Musen schwiegen nicht...”
Die Presse der russischen Emigration
und der Nationalsozialismus (1933 - 1944)
Igor Polianski 30
- 20 „Worte, Worte, Worte ...“ (I. Turgenew in Berlin)
Mina Polianski und Matthias Schwartz 50

Aus: „Was bedeutet das?“ Friedhofsgedanken
Friedrich Gorenstein

„Ich baute ein Schloss der Hoffnung“
Über Bulat Okudshawa
Lasar Lasarew

Фридрих Горенштейн



Реплика с места

Герцен писал о такого рода деятелях желтой скандальной прессы, которых нельзя уж оскорбить не только словом, но и рукой. Любой скандал им на пользу, любой скандал дает коммерческую прибыль. Да и как их ни назовешь в пределах изящной словесности, все равно сама литературная форма их приукрасит. Назовешь их грубыми, наглыми, дерзкими - высоко. Назовешь лицемерами, нечестными писаками - тоже переоценишь. Этакие папарацы мелкого масштаба, которые на скандалах тиражный жирок нагуливают. Поэтому ради них на трибуну выходить не стоит. Но реплика с места

нужна, поскольку местные папарацы стараются и на мне заработать. Я, конечно, не леди Диана, но ведь и пфенинговый скандал доходит. Как говорится, пфенинг марку бережет. Однако, к делу.

Некоторое время тому назад дал я интервью берлинской газете "Берлинер Цайтунг". Это - далеко не первое мое интервью немецкой прессе разных направлений: от консервативной "Нойе Цюрихер Цайтунг" до крайне левой "Нойес Дойчланд". В интервью "Берлинер Цайтунг", по просьбе журналиста, я среди прочего затронул тему проживания в Германии выходцев из ныне покойного Советского Союза.

Разумеется, всегда возможны неточности и ошибки, особенно учитывая, что говорю я по-немецки не блестяще. По этой причине не хочу обвинять немецкого журналиста. Скорее, это моя вина, что будучи занят, не попросил прислать мне интервью для редактирования. Так, например, не мог я сказать, что никто из эмигрантов не спросил меня о моей книге "Скрябин". Это глупо. (Некий господин редактор передернул и пишет: я возмутился тем, что редактора газет меня о "Скрябине" не спросили - еще глупее! Но о господине редакторе ниже.) Не мог я сказать, что Отто Вайнингер был единственным евреем, который похвалил Гитлера, потому что Отто Вайнингер умер в 1903-м году, когда подростком Гитлером интересовались, может быть, собаки заштатного австрийского городка Браунау, с которыми он бегал по улице. Я сказал наоборот: Вайнингер был единственным евреем, которого похвалил Гитлер, да и то после того, как Вайнингер застрелился. Также "наоборот" передано было и мое высказывание о том, что почти все эмигранты приехали в Германию ради бизнеса. Во-первых, как могут все заниматься бизнесом? Для этого нужны возможность и умение. А, во-вторых, я не вижу в бизнесе ничего плохого, если только он делается не на чужой беде, не на чужих костях.

Какие же еще есть возможности у эмигрантов, тем более массовых, когда происходит уже не эмиграция, а, по сути, эвакуация. Ведь все другие пути - государственная служба, общественная служба, научная университетская работа и т. д. - почти все для них закрыто. Остаются или бизнес, или социальная помощь, достаточно, кстати, унижительная, хоть тоже упрека не заслуживающая, особенно для людей действительно нуждающихся. Надо помнить и о том огромном материальном ущербе, который

был нанесен Холокостом еврейскому народу.

Все эти проблемы при доброжелательном отношении могли бы дать повод для критических высказываний, а при недоброжелательном - повод для резкой, но цивилизованной полемики. Однако некий "господин редактор" некой "берлинской русской газеты" ("Русский Берлин") избрал третий путь - путь личного скандалчика с автором, подстрекая, к тому же, или подстрекаемый, к тому же, своим писательско-читательским активом. Есть, знаете, такие писания, которые воздействуют не столько на сознание, сколько на обоняние. Аргументы и факты в таких писаниях отсутствуют, но, как в старину говорили: воняет-с. Я же скажу: попахивает, именно попахивает комсомольским доносом (почему-то много среди пишущей эмиграции "работников комсомольской печати". Видно, выше, в партийную печать, по анкетным данным не пускали).

Итак, господин редактор обвинил меня в том, что я получаю социальную помощь и к тому же еще подрабатываю с помощью интервью, то есть обманываю немецкого благодетеля. Я к социалу никакого отношения не имею, живу на свои литературные гонорары и на литстипендии, которые время от времени получаю. Однако, если бы и имел. Какое "господину редактору" до того дело? Я ведь не спрашиваю, какое отношение у "господина редактора", его родственников и его читательско-писательского актива с социалом. Тем более, деньги не мои. Очевидно, "господин редактор" вообразил себя членом Юденрата или евреем при губернаторе. Была такая должность в царской России - информировала хозяев, кто есть кто. (В советское время эта должность называлась иначе.)

Я, кстати, к Еврейской общине, как и к социалу, тоже никакого отношения не имею. Не член и приехал сюда не по "еврейской линии", а по приглашению DAAD Западной Гер-

мании. Приглашен был еще в 1979 году, но сумел выехать только в 1981 году на академическую стипендию. Вопрос выезда тогда был сложным. Выехал с трудом, несмотря на официальное приглашение. Однако во время горбачевской хляби полуофициального взяточничества и воровства вопрос этот приобрел денежный эквивалент. Мне рассказывали, что в ЗАГСах существовала, а, может быть, и сейчас еще существует негласная такса: столько-то за метрику с еврейской матерью, столько-то за метрику с еврейской бабушкой и т. д. Об этом неоднократно писали и в русской прессе, и в немецкой. По оценке прежнего председателя Еврейской общины Берлина Галинского, неевреев въехало 40-60%. Об этом же говорил Бубис, нынешний председатель Совета евреев Германии в интервью журналу "Шпигель". Среди покупателей "еврейских бабушек" немало было и осталось антисемитов в лучших традициях Ваньки Каина.

Мои высказывания в интервью газете "Берлинер Цайтунг" вовсе не были сенсацией. Но, Боже мой, что началось, какое нервное возмущение. Мне говорили, что "актив" даже телефон мой искал, чтобы мне звонить. От нервов лечатся бромом или подключением электричества к конечностям. А если уж возмущаться, то, по крайней мере, цивилизованно.

Цивилизованный человек, независимо от того, профессор он или сапожник, выражает свое возмущение цивилизованно, тем более, что существует такой жанр: письма трудящихся. Пишите, "трудящиеся", "господам редакторам" в свободное от своих "праведных трудов" время. А личные злые письма, личные злые звонки - это уже дело персон недостойных, а то и просто подонков. Вот, например, мне гитлеровцы звонили с "хайль Гитлер!" и прочим. Тоже мои писания не понравились.

Что касается высказывания в интервью о большом нееврейском проценте в еврейских общинах, то здесь имеется в виду не расистский подход, не смешанные семьи. Я сам приехал с украинской женой и полуукраинским сыном.

При Холокосте отдельные праведники, такие, как Корчак и иные, шли вместе с евреями в газовые камеры. Подобных праведников было очень мало. Во много раз больше тех, кто вместе с евреями идет сейчас к немецким кассам, гораздо, кстати, более скупно отпускающим евреям немецкие деньги, чем раньше отпускался евреям немецкий газ в газовых камерах. Вот к этим-то скупым компенсациям за прежние массовые удушения и убийства пристраиваются мошенники. Причем, пристраиваются успешно. Поддельные документы часто оказываются лучше подлинных. Говорят, что иные нуждающиеся евреи с трудом принимаются в общины, а некоторые вообще не принимаются.

"Прогрессивный" Хрущев, главный борец со сталинизмом, приехав в 1956 году в Польшу, сказал: "У вас здесь слишком много Рабиновичей". В царской России существовала официальная, а в коммунистической - неофициальная норма приема евреев в высшие учебные заведения и на работу. Не ввести ли процентную норму приема евреев в еврейские общины Германии?

Мне, как человеку, чудом в детстве избежавшему Холокоста, видеть подобное мошенничество неприятно. Точно у

вдов и сирот крадут их мизерные пенсии на крови. Или, как в Бабьем Яру иные мародеры копались среди костей в поисках золота и драгоценностей, не замеченных в пылу расстрела эсэсовцами.

Об эсэс гитлеровского и полегитлеровского периода я написал эссе "Михель, где твой брат Каин?", и эссе это, как мне сказали, попало на глаза другим "господам", "господам литераторам" из Мюнхена. Литературно-общественный процесс в Мюнхене среди эмигрировавших туда "господ литераторов" определенного сорта идет весьма активно и напоминает процесс в толстых кишках, гниение и брожение. Создали "литературную гостиную", что-то вроде союза Меча и орала из Ильфа и Петрова в "Двенадцати стульях" (я не знаю, сколько у них в гостиную стульев).

При коллективном обсуждении эссе "Михель, где твой брат Каин?", опубликованного по-русски в журнале Зеркало Загадок, а по-немецки в книге "Denk ich an Deutschland", изданной в Fischer-Verlag, все единогласно возмутились. Высказались так: какое право имеет он (я), живя в Германии, поносить эту страну, пусть едет в Россию, там обличает.

Вот так-то, угрожают "новые баварцы" чуть ли не депортацией мне, уже много лет немецкому гражданину и члену Союза немецких писателей. Хотят депортировать. Эти "господа литераторы" по отношению ко мне, можно сказать, "ауслэндеры". "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин" Bundesrepublik Deutschland. Но угрозы не страшусь, тем более неосуществимых. Один проживающий в Берлине русский режиссер уже лет семь время от времени мне угрожает: ну погоди, на борщ приглашу. Милые, шуточные угрозы.

В данном же случае все посерьезнее. Тут чувствую знакомый мне дух киевского борца, того самого, который мне причинил немало бед, но который подобные "господа литераторы" хлебали с лакейским аппетитом. А теперь они на баварский Wurst с Sauerkraut перешли. "Суспильство" мата (муттер) Байерн, ненько (маты) Украина. Впрочем, возможен и запашок щей. Попахивает и прочими интернациональными запахами пространства СНГ. В Мюнхен и другие места нового фатерлянда выехала целая орава "господ литераторов", страдающих до потливой яростной одышки профессиональной болезнью творческого цеха, то есть завистью. Но это не великая зависть Сальери, а бессильная, способная лишь отравить собственную печень желчью, зависть гимназического учителя литературы Передонова из "Мелкого беса" Сологуба.

Некоторые заслуженные ветераны, возможно, даже Таропуньке со Штепселем хохмы писали - Здоровеньки булы! Другие в эпоху пошлых горбачевских свобод перестраивали отечество своими бухами и дрейбухами, бесцензурную гласность видя в свете красного фонаря - интермальчики, интердевички...

Эти тарасбульбовские Янкели на батькившине нежно лизали нижний бюст (изящное выражение Маяковского)



тамошней нации-гегемона. А здесь “так широко любить новый г‘аймат”. Огерманофилились и перешли на немецкий. Я уже писал в своем памфлете об определенном сорта русских патриотах еврейского происхождения, которые от меня матушку Русь защищали. А тут нашлись “господа литераторы”, “почетные арийцы”, которые от меня свой новый г‘аймат берегут. Типичная, кстати говоря, гетто-психология, пережившая гетто: лакейское слюноотделение по отношению к внешней среде и злое пренебрежение к внутренней. Но я-то по отношению к вам - тоже внешняя среда, meine Damen und Herren, прогерманские мазохисты.

К сожалению, случаи еврейского прогерманского мазохизма не единичны. Особенно, среди так называемых интеллектуалов. Любят не только все немецкое, но даже и нацизм, если не оправдывают, то смягчают известными приемчиками: сравнивают со сталинизмом, который находят хуже гитлеризма, “объективничают”, разглагольствуя о ликвидации Гитлером безработицы и прочее. Впрочем, часто это делают даже бескорыстно, для души. Но эти - въехавшие в “новый г‘аймат” мюнхенцы и прочие - надеются: авось что-нибудь перепадет.

Еще одна сторона еврейского мазохизма - восприятие судовлетворением тайным, а иногда даже явным, с некоторой даже патологической гордостью известия о том, что Гитлер был евреем, что начальник СД Гейдрих был евреем и прочие подобные. Слухи эти издавна распространялись антисемитами-антигитлеровцами, еще при Гитлере распространялись, и он в бешенстве прямо указы-вал на их источник - “славянский враг”.

Но даже если бы Гитлер и некоторые иные гитлеровские палачи имели отношение к еврейству, какое это имеет значение? Что меняло бы это в геноциде?

Однако генеалогия Гитлера-Шикельгрубера изучена достаточно хорошо немецкими, австрийскими, швейцарскими, английскими и прочими историками. Существой хоть малейший намек на еврейство Гитлера, они уж вытащили бы такое на свет. Слухи о еврействе Гитлера - то самое шутовское откровение, которое произносится с идиотски выпученными глазами и источники которого надо искать не в документах, а в пропагандистских истериях, наподобие утверждений советской прессы об участии сионистов в расстрелах Бабьего Яра. Оказывается, евреи убивали евреев.

В Берлине, скрываясь в подполье, рядом с Гестапо и СД, гитлеризм пережило восемь тысяч евреев, а в Киеве - может быть, два десятка человек. Почему? Потому что в Берлине на евреев охотились только немцы, а в Киеве им с садистской радостью помогала значительная часть украинского населения, стремящаяся, к тому же, пограбить ос-

тавленные евреями квартиры, вопреки, кстати, запретам немецких властей.

Мазохизм, как известно, - оборотная сторона садизма и, может быть, - подсознательная защитная реакция жертвы. Славянское население, даже и антисемитствующее, тоже подвергалось гитлеровскому насилию, если не геноциду, то террору. И, тем не менее, появились убудочные анекдотики, особенно среди новых поколений в тощее советское время: “Если б Гитлер победил, то мы бы пили баварское пиво”.

Впрочем, не всегда этот мазохизм такой элементарно-убудочный. Иной раз - и умело утонченный, даже талантливый по форме. Нельзя не вспомнить популярный профессионально сделанный телесериал советского времени “Семнадцать мгновений весны”. Режиссер Лиознова, автор сценария Семенов - оба “лица еврейского происхождения”. Формально - это фильм о подвиге советского разведчика, действовавшего в СД (гитлеровской службе безопасности) под фамилией Штирлиц. Фактически - романтизация гитлеризма.

Я не говорю о том, какую задачу ставили перед собой авторы. Я говорю о том, что получилось, может быть, помимо воли авторов, а, может быть, отчасти и по воле авторов из-за “объективничанья”. Во всяком случае, сериал оказал влияние на распространение среди особого сорта школьной и студенческой молодежи в конце брежневщины и начале горбачевщины гитлеровского романтизма. Об этом писала русская пресса, об этом свидетельствуют демонстрации молодых оболтусов в день рождения Гитлера 20-го апреля в Москве и других городах еще в советское время, в период брежневского разложения.

От нечистых корней пошли нечистые побегии. Один молодой недоносок, студент Петербургского университета, города, который фюрер хотел снести, а место затопить водой, не так давно сказал по немецкому телевидению (журналисту Клаусу Беднарцу): “Гитлер - мой Бог”. Это было сказано 22 июня, в годовщину нападения Гитлера на Советский Союз.

Вот такой “объективизм”. А если учесть, что фильм “Семнадцать мгновений весны” поддер-

живали КГБ и сам Андропов, формально из-за разведчика Штирлица, а фактически, исподволь, потому что негласно в глубинах, в недрах советской службы безопасности, в тиши кабинетов и коридоров Лубянки опыт гитлеровской службы безопасности уважался и романтизировался, то становится понятен художественный “объективизм” сериала.

Автор сценария Юлиан Семенов, известный своими связями с КГБ и личными застольями с Юрием Андроповым, в свое время с почтенным “объективизмом” взял интервью



в Испании у любимца Гитлера и спасителя Муссолини (при первом аресте Дуче) Отто Скорцени. Опытный эсэсовец тем не менее не понял, что разговаривал с Jude. Среди прочего, эсэсовец высказался проарабски и антиизраильски, не уступая в том нынешним комментаторам немецкого телевидения и борцам за Friedensprozess. Интервью было с почтением опубликовано в советской газете.

Удивительно ли, что в фильме роли гитлеровских палачей и изуверов, таких, как начальник Гестапо Генрих Мюллер, начальник эсэсовской разведки Шуленберг, Борман, не требующий комментариев, исполнялись знаменитыми, обаятельными, любимыми актерами Броневым, Табаковым, Висбором все в том же стиле “объективизма”, превратившем гнусных преступников и кровавых палачей в остроумных, обаятельных, внешне красивых персон. Я даже слышал, что в нынешние времена российской неограниченной свободы слова, напоминающей свободу слова в сумасшедшем доме, опубликована была книга воспоминаний эсэсовца Шуленберга с предисловием актера Табакова.

И как бы это было смешно, если бы не напоминало паноптикум. Да и сам “разведчик Штирлиц”, исполнявшийся не менее знаменитым, особенно в те времена, и не менее обаятельным актером Тихоновым, весьма картинно носил черный эсэсовский мундир. Маска Штирлица настолько прилипла к его лицу, что русско-еврейские эмигранты даже вывезли ее с собой в Германию как одну из икон. В Берлине еще несколько лет назад существовало, а, может быть, и теперь существует кафе “Штирлиц”. А в свое время в советской газете было опубликовано высказывание афганского мальчика-сироты, воспитывавшегося в Союзе сына погибшего афганского функционера: “Правда, товарищ Штирлиц был большой революционер, как мой папа!”

Паноптикум! Революционеры, эсэсовцы, любимые актеры, советские разведчики... Советские разведчики, действительно, были, но только не Штирлицы и не в романтических СС-мундирах, а в неромантических пиджаках - Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич, Рихард Зорге... В основном, кстати, это были либо евреи, либо немцы.

Их вклад в борьбу с романтическими гитлеровскими кровопийцами велик. Велика и бесстыдная неблагодарность, которой им заплатили и советская власть, и воспитанный этой властью обыватель - в его простецком и в его “интеллектуальном” варианте. Подлинные факты их биографий намного интереснее надуманных перипетий Штирлица. А хорошего фильма они так и не удостоились. Вместо подлинных героев - самозванец Штирлиц в СС-мундире в увлекательном состязании с

обаятельным гестаповцем Генрихом Мюллером. Вот такое “объективничанье”.

Так лакировался нацизм. А живых свидетелей подлинных дел “красивых эсэсовцев” и “обаятельных гестаповцев” становится все меньше. После долгих проволочек и уверток немецкие власть имущие приняли, наконец, реше-

ние о выплате пенсий восточноевропейским евреям, сумевшим пережить Холокост. Тем более, что время выиграно, их осталось всего восемнадцать тысяч старых больных людей.

Каждый, как предполагается, получит месячную пенсию в 250 марок (250 марок немецкие так называемые Prominente платят на берлинском пресс-бале за бокал вина). По-немецки это называется “wiedergutmachen”. Подстрочный перевод - “опять хорошо сделать”, художе-

ственный - при нечистой совести поставить Богу грошовую свечу. Но в этом “wiedergutmachen” существует знаменитый немецкий “aber” (“но”). Aber пенсии могут получать только те, кто просидел в гитлеровском концлагере или гетто не менее полугода. Если пять с половиной месяцев, тогда права на пенсию нет.

Как известно, “эсэсовцы-интернационалисты” давно уже без всяких бюрократических проволочек получают пенсии. О голландском эсэсовце, получающем немецкую пенсию, немецкий чиновник заявил: “Нет доказательств, что он занимался убийствами”. Это все равно, что сказать о проститутке из борделя: нет доказательств, что она занималась половыми сношениями.

По телевизору показывали одно такое латышское подразделение немецких пенсионеров - строй латышских СС-стариков с седыми бородами, но в униформе. “Работали” они добросовестно, трудились и пулей, и лопатой. (Латышский народ - земледельческий. Лопатой пользоваться умеют - детей вырывали из рук матерей и убивали лопатами.) Но интересно другое: существует ли здесь временной барьер? Имеет ли право на пенсию лишь тот убийца, который прослужил в СС-команде не менее полугода?

“Господам литераторам”, германофилам из мюнхенской “литературной гостиной” такие мои высказывания об их новом “г’аймате” не понравятся. Впрочем, о “господах литераторах” говорить более нечего. Эти - уже на дне, потеряли последнее, что может потерять человек, то есть стыд. Потерял ли последнее берлинский “господин редактор”? Поживем - увидим.



“...набросившись на гусят, аисты убили их, затем окружили самку и нанесли ей своими клювами смертельные раны”.

Из газеты “Русская неделя”,

Берлин, июль 1933 г.

Игорь Попянский

“А музы не молчали...”

Пресса русской эмиграции и национал-социализм (1933-1944 гг.)

“Компания балалаечников”

О русской эмиграции в Берлине Виктор Шкловский писал: “Мы убежали из России и думали унести с собой культуру. Оказывается, что это так же невозможно, как увезти с собой солнечный свет в бутылке... за границей все оказались компанией балалаечников”. Этот приговор Шкловского в 1924 году можно было бы назвать излишне строгим, даже несправедливым. Однако уже через несколько лет словам его суждено было сбыться. Причем, самым парадоксальным образом.

В июне 1933 года выходящая в Берлине эмигрантская газета “Русская неделя” сообщала: “...состоится вечер Ронда (русских нацистов - И. П.). В программе - балалаечный оркестр, казачья пляска...”

В июле: “...в Луна-Парке состоится летний праздник Ронда, на котором будет, между прочим показана инсценировка песни о Стеньке Разине на воде в декорациях художника Новикова, с уча стием солистов, хора и оркестра. Кроме того, в программе казачья джигитовка...”

К концу двадцатых - началу тридцатых годов русский Берлин опустел. Одни продолжили путь во Францию и Америку, иные вернулись в советскую Россию. Но некогда почти полумиллионная русская колония не исчезла без следа. Немецкой столице осталась черно-коричневая “кофейная гуща”, нерастворимый осадок русской эмиграции в виде предсказанной Шкловским “компани и балалаечников”, теперь уже, правда, с нацистскими повязками на рукавах, белой свастикой на сине-красном поле.

Необходимо подчеркнуть, что, хотя сказанное касается далеко не всех выходцев из России, общая нелюбимая оценка русской колонии Берлина высказывается многими очевидцами. Так, например, по сообщению Иосифа Гессена, редактировавшего либеральную берлинскую газету “Руль”, издателя и друга В. Набокова, приход нацистов к власти приветствовало большинство эмигрантов. Гессен в своих воспоминаниях объясняет это явление антикоммунистической направленностью нацизма. Существовала, впрочем, и другая причина. В “новой Германии”, как тогда называли Германию фашистскую, изменился социальный состав русского Берлина. Здесь остались, главным образом, те, кто готов был служить нацистскому режиму. Или те, кому по каким-либо причинам не удалось покинуть страну.

Если в 1923 году только в Берлине проживало более трехсот тысяч русских, то в 1933 во всей Германии их оставалось не более пятидесяти тысяч, из них в немецкой столице всего лишь десять тысяч человек. Эти цифры не включают в себя, однако, русских евреев, которых подсчитывали отдельно. По переписи населения 1933 года в Германии находилось 1650 евреев с российскими паспортами.

Жизнь русской колонии Берлина с самого начала характеризовалась глубоким духовным и политическим расколом. Однако приход к власти Гитлера расчистил дорогу правым силам, находившимся до тех пор в тени. О том, какую роль играли они в Третьем рейхе, известно еще крайне мало. (Отметим, однако, исследования Амори Бурхард и Христиана Хуфена.)

Наиболее разносторонним источником для реконструкции истории является эмигрантская пресса. Она с детской непосредственностью выбалтывает самые сокровенные тайны “взрослых”, то есть “хозяев страны”. Листание таких газет, как “Русская неделя” или “Новое слово” обостряет слух, доносит крадущиеся шаги времени. Ибо “походку истории” передают не факты, говорящие о ее направлении, а форма и стилистика. Существенны даже грамматические ошибки. Так, например, после прихода Гитлера к власти в русской эмигрантской печати воцарилась крайняя неразбериха с названием нового режима, отражавшая смятение в русской колонии. В самом деле, какое написание верно: “Националсоциализм”, “национал социализм”, “нац. социализм” или “национал-социализм”?

На фоне уже совершившейся истории ясно выкристаллизовываются и журналистские методы манипуляции общественным сознанием. Заметим, что методы эти универсальны, им нет износа. Пользуется ими и сегодняшняя желтая пресса в России. Однако с особой наивностью демонстрируют их в силу своей кустарности именно эмигрантские газеты. Укажем некоторые из таких приемов “Русской недели” (за июнь - август 1933 года).

Метод первый: использование псевдонаучных аргументов.

“Германское правительство в интересах охранения здоровья и чистоты расы принял закон о стерилизации... В некоторых штатах С. Америки стерилизация применяется уже в течение ряда лет по отношению к преступникам, от которых можно ожидать больного потомства... Генерал-прокурор имперского суда в Лейпциге Эбермайер проследил историю потомства одной женщины-преступницы... Среди ее потомства оказались двое убийц, несколько проституток, сутенеры и карманные воры.”

Метод второй: запугивание и спекуляция реальными фактами.

“...Я был на Северном Кавказе. Что там происходит - невозможно описать. Населению абсолютно нечего есть... В одной семье умер хозяин... Сосед идет туда и что он видит: мать с сыном сидят у трупа умершего, на вопрос вошедшего, что она делает, она ответила: Мы советуемся с детьми, что нам делать - похоронить ли отца или лучше его съесть...”

Метод третий: спекуляция культурой и религией.

“...С речью, посвященной неразрывной связи русской культуры с православием выступил епископ Тихон. Речь Мельского была посвящена связи русской культуры с национал-социализмом...”

Метод четвертый: соединение несовместимых событий.

“Тебя зовут русские национал-социалисты”. Под таким лозунгом в прошлую пятницу в огромнейших залах “Клю” состоялся вечер Ронда. Вечер привлек буквально толпы посетителей - их было около 4000... состоится вечер, посвященный 50-летию со дня смерти И. С. Тургенева. В программе вечера - доклад о творчестве Тургенева и чтение отрывков из его произведений”.

Так, не только под барабанный бой, не только в смазных сапогах, но и буднично, в домашних тапочках входил национал-социализм в дома русских эмигрантов. Вместе с Иваном Сергеевичем Тургеневым и убиенной собачкой Му-Му. А в 1937 году русская колония Берлина пышно отметила столетие смерти А. С. Пушкина: чтениями, романсами и, конечно же, “казачьей джигитовкой”.

Тринадцать “Русских недель” “Нашего века”

За период с 1918 по 1932 год за пределами России вышло огромное количество русских газет и 933 журнала, из них только политических 280. Больше всего журналов вышло в Германии - 122 наименования. В одном Берлине работало 87 русских издательств, выходили газеты эмигрантской интеллигенции “Руль” и “Накануне”. Существовала и собственная бульварная пресса, в частности, газета “Русский Берлин” с подзаголовком “Вестник русской колонии”. Однако к началу 30-х годов вместе с вымиранием русской колонии количество печатных изданий резко сократилось.

Предвестником заката “берлинского периода русской эмиграции”, как называют немецкие историки отрезок времени с 1918 по 1933 год, стало 14 октября 1931 года, когда был отпечатан последний номер газеты “Руль” (1920 - 1931). Прощаясь с читателями, редакция выразила надежду, что “дело Руля” как трибуны борьбы за освобождение родины найдет последователей. Позднее бывший главный редактор газеты Иосиф Гессен отмечал, что заявление это было не более, чем красивым лозунгом. Гессен не верил в возобновление издания.

Однако, всего лишь три недели спустя, 8 ноября вышел первый номер газеты “Наш век”, издаваемой бывшим заместителем Иосифа Гессена Григорием Ландау, ответственным редактором Гессена театральным критиком Юрием Офросимовым, сыном Гессена Владимиром и другими сотрудниками “Руля”.

Газета “Наш век” просуществовала сравнительно недолго, до весны 1933 года, когда появилась “Русская неделя”, недолговечное продолжение “Нашего века”. В этот период она была главным изданием русской колонии, явившись промежуточным звеном на пути от демократического “Руля” к откровенно нацистской газете “Новое слово” (1933 - 1944).

“Наш век” интересен именно в силу своей “промежуточности”. Издание не стало национал-социалистическим. Но это была газета на перепутье между фашизмом и большевизмом, газета, “нашим веком” до смерти перепутанная. Тридцатое января 1933 года, день назначения Гитлера рейхсканцлером, расколело редакцию, также, как и всю русскую диаспору Берлина. Григория Ландау, внешнеполитического комментатора, выслали из страны. (Эмигрировал в Ригу, где в 1940 году после прихода туда Красной армии был арестован и казнен.) Владимир Гессен, внутрисполитический комментатор “На-

„Doch die Musen schwiegen nicht...“

Die Presse der russischen Emigration und der Nationalsozialismus (1933 - 1944)

von Igor Polianski

„... nachdem sie sich auf die Gänseküken gestürzt hatten, töteten die Störche sie, dann kreisten sie das Weibchen ein und versetzten ihr mit ihren Schnäbeln tödliche Wunden.“

„Russkaja Nedelja“, Berlin, Juli 1933

1.

Im Jahre 1924 schrieb Wiktor Schklowski über die russische Emigration in Berlin: „Wir flohen aus Rußland und dachten, daß wir unsere Kultur mit uns nähmen. Es zeigte sich, daß das genauso unmöglich ist, wie Sonnenlicht in einer Flasche mitzunehmen... im Ausland fanden sich alle in der Gesellschaft der Balalaikaspieler wieder“. Dieses Urteil Schklowskis hätte man als äußerst streng, ja sogar ungerecht bezeichnen können. Jedoch sollten sich seine Worte schon nach einigen Jahren erfüllen. Im Juni 1933 teilte die in Berlin erscheinende Emigrantenzeitung „Russkaja Nedelja“ („Russische Woche“) mit „Es wird ein Abend der Rond (der russischen Nazis, I. P.) stattfinden. Im Programm - ein Balalaikaorchester, Kosakentanz...“

Gegen Ende der Zwanziger, Anfang der Dreißiger verödete das “russische Berlin”. Die einen setzten ihren Weg Richtung Frankreich und Amerika fort, die anderen kehrten nach Sowjetrußland zurück. Doch die einmal fast eine halbe Million Menschen zählende russische Kolonie verschwand nicht ohne Folgen. In der deutschen Hauptstadt blieb der schwarz-braune „Kaffeersatz“ zurück, der unauflöbliche Bodensatz der russischen Emigration in Gestalt der von Schklowski prophezeiten „Gesellschaft der Balalaikaspieler“, jetzt allerdings schon mit Nazibinden am Arm und mit weißer Swastika vor blau-rottem Hintergrund.

Obwohl diese Feststellung bei weitem nicht alle Auswanderer betrifft, muß man betonen, daß diese verallgemeinerte, von einzelnen Personen absehende Beurteilung der russischen Kolonie Berlins von vielen Zeitzeugen gefällt worden ist. So hat zum Beispiel nach einer Mitteilung von Josif Gessen, der die liberale Berliner Zeitung „Ru!“ („Das Steuer“) redigierte und Herausgeber und Freund Wladimir Nabokows war, die Mehrheit der russischen Emigranten den Machtantritt der Nazis begrüßt. Gessen erklärt dies in seinen Erinnerungen mit der antikommunistischen Ausrichtung des Nazismus. Es gab im übrigen noch einen weiteren Grund. Im „neuen Deutschland“, wie man damals das faschistische Deutschland nannte, hatte sich die soziale Zusammensetzung des russischen Berlins geändert.

Wenn 1923 allein in Berlin mehr als dreihunderttausend Russen lebten, so gab es

1933 in ganz Deutschland nicht mehr als fünfzigtausend, von denen in der Hauptstadt gerade mal zehntausend (nach anderen Angaben fünfzehntausend) geblieben sind. Diese Zahlen beinhalten allerdings nicht die russischen Juden, die schon damals getrennt gezählt wurden. Nach der Volkszählung von 1933 gab es in Deutschland 1650 Juden mit russischen Pässen.

Das Leben der russischen Kolonie in Berlin war von Anfang an durch eine tiefe geistige und politische Spaltung charakterisiert. Mit dem Machtantritt Hitlers war jedoch den rechten Kräften der Weg bereitet, die bisher im Hintergrund standen. Zum Studium dieser Kräfte stellt natürlich die russische Emigrantenpresse, die auch noch unter den Nationalsozialisten erschien, die vielseitigste und bunte Quelle dar. Blättern wir in einigen Seiten der Zeitungen „Russkaja Nedelja“ oder „Nowoje Slowo“ („Neues Wort“) vom Juni bis August 1933.

... Mit einer Rede, die sich der unzertrennlichen Verbindung der russischen Kultur mit der russischen Orthodoxie widmete, trat Bischof Tichon auf. Die Rede von Melski befaßte sich dem Verhältnis der russischen Kultur zum Nationalsozialismus...

„Die deutsche Regierung hat zum Gesundheitsschutz und zur Rassenreinhaltung ein Gesetz zur Sterilisation verabschiedet... In einigen Staaten Nordamerikas wird die Sterilisation schon seit einigen Jahren bei Prostituierten angewandt, bei denen kranke Nachkommenschaft zu erwarten ist...“

„Dich rufen die russischen Nationalsozialisten“. Unter dieser Losung fand am vergangenen Freitag in den riesigen Sälen des „Klju“ ein Abend der Rond statt. Der Abend zog buchstäblich Besuchermassen an - es waren um die 4000...“

... Es wird eine Abendveranstaltung zum 50. Todestag von Iwan Turgenew geben. Im Programm ist ein Vortrag über das Werk Turgenews und die Lesung von Auszügen aus seinem Werk geplant.“

So, und nicht nur bei Trommelschlag und in gewichsten Stiefeln, sondern auch ganz alltäglich, in Hausschuhen, kam der Nationalsozialismus in die Wohnungen der russischen Emigranten. Zusammen mit Iwan Sergejewitsch Turgenew und dem ertränkten Hündchen Mu Mu. Und 1937 feierte die russische Kolonie Berlins prunkvoll den hundertsten Todestag Alexander Puschkins: mit Lesungen, Romanzen und natürlich auch mit „kaukasischen Reiterkunststücken“.

2.

Wenn man von der Emigrantenpresse der Nazizeit spricht, muß man unbedingt festhalten, daß Anfang der 30er Jahre mit dem Aussterben der russischen Kolonie auch die Anzahl der Publikationen stark zurückging. Insgesamt sind in der Zeit von 1918 bis 1931 außerhalb Rußlands 933 russische Zeitschriften erschienen, darunter nur 280 politische, und eine riesige Anzahl an Zeitungen. Die meisten Zeitschriften erschienen in Deutschland: 122 Titel.

Ein Vorbote des Niedergangs der „Berliner Periode der russischen Emigration“, wie

шого века”, уехал в Париж в мае 1933 года.

В то же время, для “Нашего века” с самого начала писал Владимир Деспотули, фигура, на которую стоит обратить особое внимание. Деспотули, одессит, черноморский грек по происхождению, сотрудничал еще в “Руле”. Впоследствии он встал во главе финансируемой национал-социалистами газеты “Новое слово”, речь о которой пойдет ниже.

Другой примечательной личностью был русский немец генерал А. фон Лампе, ставший председателем основанного в 1932 году “Общества друзей русской печати”. В “новой Германии” до и во время войны фон Лампе активно участвовал в организации сотрудничества между NSDAP и русской эмиграцией, был постоянным автором “Нового слова”.

До водворения нацизма газета “Наш век” подчеркнуто игнорировала правые круги русской диаспоры. День назначения Гитлера рейхсканцлером она встретила подчеркнутой нейтральностью, “Танцем маленьких лебедей”, как мы бы сказали сегодня. По мере накаления обстановки в стране весной 1933 года сообщения “Нашего века” принимали все более психотерапевтический характер. “Наш век” заверял читателей, что изменение политической линии нисколько не скажется на положении эмигрантов в Германии, что сообщения о предполагаемых “мерах” по отношению к евреям из России, как якобы стало известно от весьма “влиятельных лиц”, не соответствуют действительности.

Настороженность и страх перед нацизмом читались между строк всех публикаций газеты. В то же время, издание должно было отражать настроения русской колонии Берлина. Так, например, 2-го апреля 1933 года “Наш век” напечатал заискивающее открытое письмо русских эмигрантских организаций за подписью Сергея Боткина, бывшего посла России в Риме, и бывшего русского посла барона Остен-Закен-Теттенборна “глубокоуважаемому господину рейхсканцлеру” Гитлеру. В письме выражалась лояльность к новому правительству и подчеркивалась “полезность” русских эмигрантов, “знающих большевистского врага в лицо” и давно предупреждавших немецкую общественность о его опасности.

Справедливости ради, отметим, что газета ни разу не позволила себе антиеврейских высказываний. Как мы увидим ниже, на общем фоне событий это выглядело настоящим вызовом общественности. “Наш век” был обречен. Через два с половиной месяца после прихода нацистов, 16 апреля 1933 года, был отпечатан последний номер газеты. Незадолго до этого, 1 марта, поли-

ция учинила разгон “капустника” “Общества друзей русской печати” в кафе “Леон”.

Попытка возобновления газеты Юрием Офросимовым в виде просуществовавшей всего лишь 3 месяца “Русской недели” была обречена на провал. Тринадцать “Русских недель” (с 21 мая по 13 августа 1933 года) являли собой жалкое зрелище, обернулись агоническим стучанием на пишущей машинке.

Под самиздатовской рисованной обложкой с подзаголовком “Antibolschevistische Zeitung” читателю открывались машинописные листки с прыгающими, то и дело западающими буквами:

“К друзьям-читателям.

Единственная в Германии русская газета “Наш Век”... закрылась из-за невозможности нести расходы... Между тем, в такой ответственный момент русская колония Берлина и Германии должна иметь свой орган, беспристрастно освещающий события... Русская газета должна разъяснять законы и мероприятия властей, поскольку они касаются интересов и жизни эмигрантов... Не имея пока никаких средств к выходу газеты нормальным типографским путем, с полным сознанием чрезвычайной ответственности - мы считаем нравственным долгом русского журналиста не сдаваться перед материальными трудностями и не прерывать нашей работы...”

Сегодня трудно толковать и оценивать сообщения “Русской недели”. При сквозном прочтении они оставляют впечатление фантазмагорического. Зловеще-двусмысленно звучат даже такие откровения газеты, как, например: “По сведениям международного орнитологического общества в Европе начинают исчезать утки”. Или: “Английская критика отмечает упадок юмора во всей мировой литературе”.

В отличие от “Нашего века”, “Русская неделя” позволяла себе и антисемитские высказывания, напоминая при этом, однако, пустившегося в любовные похождения подростка, на этом поприще еще неискушенного. Антисемитизмом газета занималась в цитатах, крайне застенчиво, так что невооруженному глазу было видно: действует интеллигентская размазня. “Русская неделя” скончалась тихо, без прощания с читателем. На обложке последнего номера изображен был улетающий самолет за подписью “Заграничный...”

“Непреходящие ценности”

“Наш век”, так же как и упомянутое уже “Русское слово”, на котором мы остановимся позднее, были ведущими, но далеко не единственными русскими издани-

ями в Берлине тридцатых годов. 8 июня 1933 года здесь вышел первый номер еженедельной газеты "Голос Ронда", переименованной позднее в "Пробуждение России", с подзаголовками "Российское Освободительное Народное Движение" и "Российское Национал-Социалистическое Движение Трудящихся".

На первой странице газета опубликовала "Воззвание к Русским людям" А. П. Светозарова (издателя "Пробуждения..."). Светозаров писал: "Волею судеб я стал во главе Российского Освободительного Народного Движения... я прежде всего являюсь другом и союзником тех национальных фашистских стран, которые, как Германия, Италия и Венгрия, уже стали на путь освобождения от гнета безбожного марксизма и хищнического капитализма..."



"Русская Неделя". 1933 г.

"Пробуждение России" публиковало фотографии русских фашистов, марширующих по берлинским улицам, портреты и речи Гитлера, Геббельса и, разумеется, "вождя русских национал-социалистов" Светозарова. В каждом номере появлялись набранные крупным шрифтом антисемитские высказывания классиков русской и немецкой литературы. Газета пестрела заголовками типа: "На молитву... Шапки... Долой...", "Иудейский заговор", "Наш Вождь", "Они клеветуют!", "Как я стал национал-социалистом". И, конечно же, газета обильно печатала стихи. Прежде всего, Светозарова, ибо вождь русских нацистов был еще и поэтом. Вот один из его хореев: "Мы встанем на призыв России/ Под стяг

двуглавого Орла/ Вперед, на бой, вперед витии/ Под сенью белого Креста/... Над полем смерти запыляет,/ России новая заря/ Труба победно заиграет,/ При въезде русского Вождя."

Характерно, что основным пропагандистским источником русских фашистов, как, впрочем, и правых эмигрантских кругов в целом (и нынешних постсоветских фашистов), их неоскудевающей питательной средой, были вполне реальные, невыдуманные "ужасы советской России". Из письма в газете: "...нема з ким робити, нема чого исти, просто сказать душоубство". Сообщения о советском терроре, голоде на Украине, сталинских чистках наполняли сердце эмигранта-обывателя благородным гневом, рыцарской романтикой: "Гей! Дружинники вперед!/ Будет Родина счастлива.../ Вождь России нас ведет,/ Даст ей счастье сиротливой".

В статье "Мы и они. Марксизм и национал-социализм" от 23.06.1933 читаем:

"Для нас существует лишь один закон - материальная потребность, говорят они (марксисты, - И. П.), и мы не признаем никаких "буржуазных" ценностей, как Бог, семья, нравственность, справедливость, народ, государство."

- Нет, отвечаем мы (фашисты, - И. П.), Бог, семья, нравственность, справедливость, народ, государство, все это не "буржуазные предрассудки", а вечные, непреходящие, общечеловеческие ценности

- Мы живем для того, чтобы хозяйствовать, говорят коммунисты.

- Мы хозяйствуем для того, чтобы жить, говорят национал-социалисты".

В тексте этом узнаваем, конечно, мотив "Нагорной проповеди": "А я вам говорю..." Узнаваемо и нечто другое: перестроечные проповеди некоторых постсоветских "демократов". Впрочем, "общечеловеческие ценности" в качестве пропагандистского лозунга, по всей видимости, и правда "непреходящи", ибо верно сказано: "благими намерениями вымощена дорога в ад".

Так, например, один из подобных непреходящих борцов за "общечеловеческие ценности" Михаил Назаров в историческом журнале "Родина" (№11, 1997), издаваемом правительством России, всячески старается обелить русских фашистов-эмигрантов, используя, по сути дела, аргументацию "вождя" Светозарова. Указывая истинные мотивы, по которым русская диаспора в Германии приняла нацизм, автор эти мотивы оправдывает лишь с одной оговоркой: русские фашисты ошиблись в Гитлере, рассчитывали на большую благосклонность к славянам. В статье "Меньшее зло?" Назаров, в частно-

сти Historiker den Zeitabschnitt von 1918 bis 1933 nennen, war der 14. August 1931, als die letzte Nummer der Zeitung „RuI“ aus dem Druck kam. Jedoch erschien nur drei Wochen später am 8. November die erste Nummer der Zeitung „Nasch Wek“ („Unser Jahrhundert“). Sie existierte verhältnismäßig kurz, bis zum Frühling 1933.

„Nasch Wek“ ist aber gerade durch seine „Zwischenzeitlichkeit“ interessant. Sie wurde keine nationalsozialistische Publikation. Doch sie war eine Zeitung am Scheideweg zwischen Faschismus und Bolschewismus, eine von „unserm Jahrhundert“ zu Tode erschreckte Zeitung. Der dreißigste Januar 1933, der Tag, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, spaltete die Redaktion, genauso, wie er die ganze russische Diaspora in Berlin spaltete. Grigori Landau, der außenpolitische Kommentator, wurde des Landes verwiesen. (Er emigrierte nach Riga, wo er 1940 nach dem Einmarsch der Roten Armee gefangen genommen und hingerichtet wurde.) Wladimir Gessen, der innenpolitische Kommentator von „Nasch Wek“, reiste im Mai 1933 nach Paris aus.

Gleichzeitig schrieb Wladimir Despotuli von Anfang an für „Nasch Wek“, eine Person, die es sich lohnt, zu beachten. Despotuli kam aus Odessa und war der Herkunft nach Schwarzmeergriechen, er arbeitete schon in der „RuI“ mit. Später wurde er Chef der von den Nationalsozialisten finanzierten Zeitung „Nasche Slowo“.

Bis zur Durchsetzung des Nazismus ignorierte „Nasch Wek“ entschieden die rechten Kreise der russischen Diaspora. Entsprechend der erhitzten Situation im Land im Frühling 1933 nahmen die Mitteilungen einen mehr und mehr psychotherapeutischen Charakter an. „Nasch Wek“ versicherte dem Leser, daß die veränderte politische Linie keinerlei Auswirkungen auf die Lage der Emigranten in Deutschland habe.

Um der Gerechtigkeit willen sei noch festgestellt, daß die Zeitung nicht ein einziges Mal antijüdische Äußerungen zuließ. Wie wir weiter unten sehen werden, mußte das vor dem allgemeinen Hintergrund der Ereignisse wie eine Herausforderung an die Allgemeinheit wirken. „Nasch Wek“ wurde dafür bestraft. Zweieinhalb Monate nach dem Machtantritt der Nazis erschien am 16. April 1933 die letzte Nummer der Zeitung. Einige Zeit vorher, am 1. März, hatte die Polizei den bunten Abend der „Gesellschaft der Freunde der russischen Presse“ im Café „Leon“ auseinander geknüpelt.

Der Versuch von Juri Ofrossimow, die Zeitung in Gestalt der nur drei Monate existierenden „Russkaja Nedelja“ zu erneuern, war zum Scheitern verurteilt. Die dreizehn Nummern der „Russkaja Nedelja“ (vom 21. Mai bis zum 13. August 1933) gaben einen traurigen Anblick ab, sie verwandelten sich in agonisches Hämmern auf der Schreibmaschine.

Hinter dem im Samisdat gezeichneten mschlagblatt mit dem Untertitel „Antibolschewistische Zeitung“ eröffneten sich dem

Leser Blätter mit springenden und , worauf es ankommt, einprägsamen Buchstaben. Im Unterschied zur Zeitung „Nasch Wek“ erlaubte sich die „Russkaja Nedelja“ auch antisemitische Äußerungen, erinnerte dabei jedoch eher an einen pubertären Halbwüchsigen, der eine Liebesaffäre anfängt, auf diesem Arbeitsgebiet jedoch noch unerfahren ist. Antisemitismus betrieb die Zeitung in Zitate, äußerst schüchtern, so daß dem bloßem Auge klar wird: hier handelt es sich um einen intellektuellen Waschlappen. Die „Russkaja Nedelja“ endete lautlos, ohne Abschied von den Lesern. Auf dem Umschlag der letzten Nummer ist ein fliegendes Flugzeug mit der Aufschrift „Auslands...“ dargestellt.

3.

„Nasch Wek“ sowie die schon erwähnte Zeitung „Russkoje Slowo“, auf die wir später zu sprechen kommen, waren die führenden, doch bei weitem nicht die einzigen russischen Publikationen im Berlin der dreißiger Jahre. So erschien zum Beispiel am 8. Juni 1933 die erste Nummer der Wochenzeitung „Golos Ronda“ („Die Stimme der Ronda“), die später in „Probushdenie Rossii“ („Das Erwachen Rußlands“) umbenannt wurde, mit den Untertiteln „Russische Volksbefreiungsbewegung“ und „Russische Nationalsozialistische Bewegung der Werktätigen“. Die Zeitung „Probushdenie Rossii“ veröffentlichte Fotos mit russischen Faschisten, die die Berliner Straßen lang marschierten, Porträts von Hitler, Goebbels und natürlich dem „Führer der russischen Nationalsozialisten“ Swetosarow. In jeder Nummer erschienen in großer Schrift gesetzte antisemitische Äußerungen der Klassiker. Die Zeitung glänzte mit Überschriften des Typs: „Zum Gebet... Die Mützen... Nieder...“, „Jüdische Verschwörung“, „Unser Führer“, „Sie verleumdern!“, „Wie ich Nationalsozialist wurde“. Bezeichnend ist, daß die Hauptpropagandaquelle für die russischen Faschisten, wie im übrigen auch für alle rechten Emigrantenkreise, der nicht verkümmerte Nährboden, die vollkommen realen, nicht ausgedachten „Schrecken Sowjetrußlands“ waren.

In dem Artikel „Wir und sie. Der Marxismus und der Nationalsozialismus“ vom 23. 06. 1933 lesen wir: „Für uns gibt es nur ein Gesetz, die materielle Notwendigkeit, sagen sie (die Marxisten, I. P.), und wir erkennen keine „bourgeois“ Werte an, nicht Gott, Familie, Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Volk noch Staat.

Nein, antworten wir (die Faschisten, I. P.), Gott, Familie, Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Volk und Staat, alles das sind keine „bourgeois Vorurteile“, sondern ewige, unvergängliche, allgemeinmenschliche Werte“.

In diesem Text erkennen wir natürlich das Motiv der „Bergpredigt“ wieder: „Und ich sage euch...“ Zu erkennen ist auch etwas anderes: die Predigten der Perestrojkezeit einiger postsowjetischer „Demokraten“. Im übrigen sind die „allgemeinmenschlichen Werte“ als Propagandamittel allem Anschein nach tatsächlich „unveränglich“, denn wie

сти, пишет: „Гитлеризм к началу войны еще не проявил своего подлинного лица, германское общество было неоднородно, немцы проводили интересные социальные реформы...“

Хотелось бы внести некоторые уточнения. Подлинное лицо гитлеризма проявилось уже в первые дни правления нацистов. Социальные реформы, такие, например, как стерилизация, которые автор иронично называет „интересными“, были введены в 1933 году. Русской колонии было известно и о начавшихся преследованиях евреев. Газета „Освобождение России“ писала о них с восторгом. Именно проявление „подлинного лица гитлеризма“ заставило подавляющее большинство русских эмигрантов бежать из страны. В Германии 1933 года оставались лишь „активисты“. Или те, кто по личным, финансовым или правовым причинам не смог уехать. Что же касается „подлинного лица“ автора статьи в „Родине“ Назарова, то будем надеяться, что история не даст ему возможности его „проявить“.

В 1933 году движение русских национал-социалистов приняло в Германии массовый характер. По всей стране было открыто 28 отделов РОНДа, и еще 20 представительств существовало вне Германии. Собрания фашистских дружин посещали весьма влиятельные личности, представители Русской Зарубежной Церкви, среди них Первосвященник Владыка Тихон, епископ Берлинский и Германский. 5-го июня 1933 года немецкие власти торжественно передали РОНДу Андреевский флаг, захваченный германскими войсками во время „Великой войны“ (Первой мировой).

Собрания РОНДа проходили в зале Виктории на Вилгельмсауе 114 в Вильмерсдорфе или в ресторане „Тиргартенхоф“ у вокзала Тиргартен. „Прием у вождя“ (так в газете Светозарова) на Майероттоштрассе 1.

Казалось бы, дела русских нацистов шли как нельзя лучше. Впрочем, это казалось только на первый взгляд. Помещая речи „Вождя Светозарова“ рядом с речами самого Гитлера, маршируя с андреевскими флагами по арийским бюргерштайгам, опытные успехами великороссы не учли всей политической сложности момента. Не разобрались до конца в линии NSDAP.

Славянин с поднятой в нацистском жесте рукой вызывал у арийцев искреннее недоумение. Иных наводил на языческую мысль о неединственности фюрера в Германии. Нет, немецкое руководство вовсе не собиралось отказываться от сотрудничества с русской эмиграцией. На то у него

были, как показало будущее, далеко идущие планы. Однако, во-первых, коллаборант должен был помнить отведенное ему место, а, во-вторых, целесообразность требовала не казачьего балагана, но того, что называется точным и емким немецким словом „Leistungsfähigkeit“ (работоспособность, полезность).

Не могла не вызвать раздражения шепот и неприкрытая борьба за место „вождя“ между А. Светозаровым и Н. Дмитриевым, приведшая к расколу РОНДа. 8 июня 1933 года газета „Возрождение России“ („Голос РОНДа“) сообщила: „...в Берлине появилась газета-летучка под названием РОНД, издатель - Николай Дмитриев... Газета эта не имеет никакого отношения к Российскому Освободительному Народному Движению и выпущена лицами, исключенными из него. Приняты меры к запрещению выпуска этого листка и к конфискации уже вышедших номеров“.

Опасения „Возрождения России“ не лишены были оснований. „Самозванный листок“ страдал очевидными „перегибами“, грозил скомпрометировать русских национал-социалистов, тем более, что первые его две страницы напечатаны были по-немецки.

Увенчанный двумя девизами: „Heil Hitler!“ и „Gej Rossija“ („Гей Россия!“), щедро разукрашенный в духе фашиствующего православия „РОНД“ утверждал себя единственным органом русских нацистов, а людей Светозарова называл бандой „честолюбивых и корыстолюбивых дельцов“. В газете помещена была также карикатура, весьма метко изображавшая „вождя“ Светозарова стоящим на трибуне с бутылкой водки за подписью: „Кто он?... Тип напускного зазывалы/ Потешный дядька, пустозвон“.

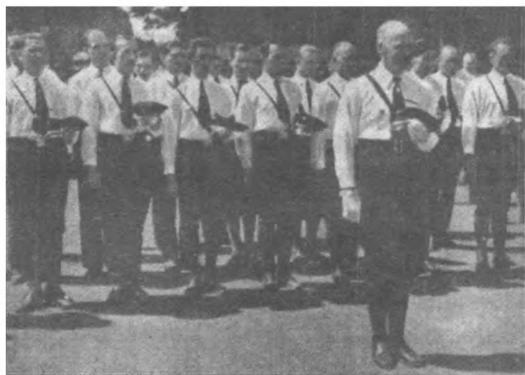
Началась довольно грязная и комичная газетная склока. Так, „вождь“ Светозаров, обращаясь к Дмитриеву в открытом послании, запальчиво писал: „Не хотите ли иметь очную ставку со свидетелем - Отар-Бекком, который может установить вашу близость к карманным ворами? Нельзя ли вас расспросить об одном случае, когда вы пытались шантажировать одну даму, требуя от нее 100 марок и утверждая, что „что-то страшное“ случится с ее мужем, бывшем в отъезде, если эти 100 марок не будут вам заплачены? Эти 100 марок не будут вам заплачены не были, муж дамы вернулся, а вам пришлось поспешно убраться из его организации“.

Все это, впрочем, было бы еще полбеды. Однако, и это уже было гораздо серьезнее, в издании Дмитриева были упомянуты имена двух видных немецких нацистов. Утверждалось, что РОНД финансируется немецкими властями, в частности, графом

фон дер Гольцем (бывшим главнокомандующим немецких войск в Прибалтике) и Розенбергом.

Поистине же нокаутирующим ударом явилась публикация конкурирующей газетой портрета Гитлера и посвященных Гитлеру стихов на немецком языке за подписью Дмитриева. Ибо не только “вождь”, но и “вождь-самозванец” Дмитриев-Лжедмитриев страдал известным синдромом: “рука - к перу, перо - к бумаге”, который, как мы знаем, часто обостряется в условиях эмиграции. Вот последние строки его поэтической вольности: “Oh, Bruder! Held! Durch Leid und Segen, / Wir strecken Dir die Hand entgegen”.

Газета “Пробуждение России” (30 июля 1933 г.)



Из жизни дружин
Р.О.Н.Д.

На молитву...
шапки...
долгой!..

Согласитесь, от обращения к фюреру “брат” недалеко и до панибратства, а пассаж “Мы протягиваем тебе руку” иначе, как грубой фамильярностью, не назовешь. Почувствовав, что дело “швах”, Светозаров отвечал в своей газете: “И в этом же самом вашем листке, полном лжи, вы смеете помещать портрет Вождя Германской Нации... Позвольте дать вам один ответ: Руки прочь от святыни!”

Запретили российских национал-социалистов осенью 1933 года. Газету закрыли. Объединение существовало, впрочем, полуполюгально до 1939 года.

Надо сказать, утверждения Дмитриева о том, что деятельность русских нацистов контролируется Розенбергом, было недалеко от истины. Но, по всей видимости, Розенберг, занимавшийся восточной немецкой политикой, и другие функционеры NSDAP достаточно быстро разочаровались в РОНДовских атаманах. Уже весной 1933 года они подыскивали себе более грамотных и профессиональных коллаборантов. А 21 мая 1933 года появился первый номер “Нового слова”, “русской национальной газеты в Берлине”.

“Крестовый поход”

Выпуск “Нового слова” удался только с четвертой попытки. В 1933 году, в то время,

как “вожди” РОНДа поглощены были междоусобной борьбой, вышло три номера газеты. Регулярная ее работа началась лишь в августе 1934-го.

Такая ситуация сложилась потому, что и за власть в санкционируемом немцами издании шла ожесточенная борьба между двумя группировками русских эмигрантов. В фондах Гестапо педантично собраны пачки доносов, сыпавшихся тогда с обеих сторон. Не вдаваясь в подробности, скажем лишь, что, по сообщению историка Х. Хуфена, расстановка противоборствующих сил была следующая: с одной стороны - фракция председателя крупного эмигрантского объединения генерала Бискупского, поддерживаемого Гестапо, с другой - группа Деспотули и генерала фон Лампе, имевшая не менее серьезного покровителя - Восточное министерство во главе с Розенбергом.

В то время как стражи порядка из Гестапо стремились к созданию русской газеты, непосредственно подчиненной нацистской партии, мечтательный взгляд

Розенберга устремлен был на Восток. В создаваемой газете он видел не столько ментора русской колонии Берлина, как того хотелось приземленным гестаповцам, сколько будущего ментора русской колонии значительно большего размаха. “Новое слово” он планировал превратить в инструмент для вербовки специалистов и информантов из среды эмиграции в интересах своей “восточной политики”. Позднее, во время войны, они должны были быть, и были, использованы для пропагандистской работы на оккупированных советских территориях.

После долгих перипетий победу одержала “красивая идея” Розенберга, то есть команды Деспотули, который и стал главным редактором “Нового слова”. Уже в 1935 году тираж газеты составлял 3500 экземпляров. Позднее, летом 1943 года, он достиг рекордной величины 50 тыс. экземпляров, поскольку газета распространялась и на оккупированных территориях СССР.

Накануне и во время войны с Советским Союзом Деспотули, стоявший тогда уже во главе целого издательства, выпускал также газеты “Новая жизнь”, “Пашня” и “Труд”. А 22 июня 1941 года “Новое слово” специальным выпуском приветствовало “крестовый поход против большевизма”.

heißt es richtig: „Mit guten Vorsätzen ist der Weg in die Hölle gepflastert“.

So versucht zum Beispiel einer der unvergänglichen Kämpfer für „allgemeinenschliche Werte“, Michail Nasarow, in der historischen Zeitschrift „Rodina“ („Heimat“, Nr. 11, 1997), die von der Regierung Rußlands herausgegeben wird, die russischen faschistischen Emigranten mit allen Mitteln weiß zu waschen, wobei er sich im Grunde genommen der Argumentation des „Führers“ Swetosarow bedient. Indem er auf die wahren Motive hinweist, aus denen die russische Diaspora in Deutschland den Nazismus angenommen habe, rechtfertigt der Autor diese Motive mit nur einem Vorbehalt: die russischen Faschisten hätten sich in Hitler insoweit geirrt, als daß sie auf eine größere Zuneigung seinerseits gegenüber den Slawen gezählt hätten. Nasarow schreibt insbesondere: „Der Hitlerismus zeigte bis zum Kriegsanfang noch nicht sein wahres Gesicht, die deutsche Gesellschaft war heterogen, die Deutschen führten interessante Sozialreformen durch...“

Hier muß man einiges richtigstellen. Seine wahres Gesicht zeigte der Hitlerismus schon in den ersten Regierungstagen der Nazis. Die Sozialreformen, die der Autor spielerisch „interessant“ nennt, wurden schon 1933 eingeführt. Die russische Kolonie wußte auch von der beginnenden Judenverfolgung. Die Zeitung „Oswoboshdenie Rossi“ („Die Befreiung Rußlands“) schrieb über sie mit Begeisterung. Eben das „wahre Gesicht“, das der „Hitlerismus“ zeigte, zwang die erdrückende Mehrheit der russischen Emigranten, aus dem Land zu fliehen. Im Deutschland des Jahres 1933 verblieben nur die „Aktivisten“. Oder die, die aus persönlichen, finanziellen oder rechtlichen Gründen nicht wegfahren konnten. Was das „wahre Gesicht“ des Autors des Artikels in der „Rodina“, Nasarow, anbelangt, hoffen wir, daß die Geschichte ihm keine Gelegenheit geben wird, es „zu zeigen“.

Im Jahre 1933 nahm die Bewegung der russischen Nationalsozialisten massenhaften Charakter an. Im ganzen Land wurden 28 Sektionen der ROND gegründet, außerdem gab es noch 20 Vertretungen außerhalb Deutschlands. Die Versammlungen der faschistischen Gefolgschaften besuchten überaus einflußreiche Persönlichkeiten, Repräsentanten der Russischen Auslandskirche, unter ihnen der Hohepriester Wladyslaw Tichon, Bischof von Berlin und Deutschland. Am 5. Juni 1933 wurde der ROND von den deutschen Machthabern feierlich die Andreasflagge übergeben, die die deutschen Truppen während des „Großen Krieges“ (Erster Weltkrieg) erobert hatten.

Die Versammlungen der ROND fanden im Viktoriasaal an der Wilhelmsaue 114 in Wilmersdorf oder im Restaurant „Tiersgartenhof“ am Bahnhof Tiergarten statt. Einen „Empfang beim Führer“ gab es (so die Zeitung Swetosarows) in der Meierottostraße 1.

Es schien, als ob die Sache der russischen Nazis nicht besser hätte laufen können. Doch

so sah es im übrigen nur auf den ersten Blick aus. Als man die Reden des „Führers Swetosarow“ neben den Reden von Hitler selbst plazierte, mit den Andreasflaggen über die arischen Bürgersteige marschierte, berauscht war von den Erfolgen der Großrusen, da wurde - wie man sagen muß - nicht die ganze politische Schwierigkeit des Moments berücksichtigt. Man fand sich nicht ganz mit der Linie der NSDAP zurecht.

Ein Slawe, der die Hand in Nazigeste erhob, rief unter den Ariern aufrechtes Befremden hervor. Nicht daß die deutsche Regierung vorhatte, eine Zusammenarbeit mit der russischen Emigration zu verweigern. Dafür hatte sie, wie die Zukunft zeigte, viel weitergehende Pläne. Jedoch mußte erstens der Kollaborateur seinen ihm zugewiesenen Platz in Erinnerung behalten und zweitens erforderte die Zweckmäßigkeit keine Kosakentrommel, sondern das, was mit dem genauen und vieldeutigen deutschen Wort „Leistungsfähigkeit“ bezeichnet wird.

Auch der unsaubere Kampf um den Platz des „Führers“ zwischen A. Swetosarow und N. Dmitriew, der zur Spaltung der ROND führte, mußte die Chefs in Erregung versetzen. Im Herbst 1933 wurden die russischen Nationalsozialisten verboten. Ihre Zeitung wurde geschlossen. Ihre Vereinigung existierte, allerdings halblegal, bis zum Jahr 1939 weiter. Allem Anschein nach waren Rosenberg, der sich mit der deutschen Ostpolitik beschäftigte, und andere Funktionäre der NSDAP ziemlich bald von den Atamanen der ROND enttäuscht. Schon im Frühling 1933 begannen sie nach geschulteren und professionelleren Kollaborateuren zu suchen. Am 21. Mai 1933 erschien die erste Nummer der „Nowoje Slowo“, eine „russische Nationalzeitung in Berlin“, die elf Jahre lang bis 1944 existierte.

4.

Das Erscheinen der Zeitung „Nowoje Slowo“ gelang erst mit dem vierten Versuch. 1933, als die „Führer“ der ROND vom internen Personalkampf in Anspruch genommen waren, erschienen nur drei Nummern der Zeitung. Ihre reguläre Arbeit nahm sie erst im August 1934 auf.

Eine solche Situation ergab sich, weil in der von den Deutschen sanktionierten Publikation zwischen zwei Gruppierungen der russischen Emigranten ein erbitterter Kampf um die Macht ausgebrochen war. In den Beständen der Gestapo finden sich sorgfältig archivierte Pakete mit Denunziationen, die von beiden Seiten damals ausgestreut worden sind. Ohne sich in die Einzelheiten zu verlieren, sei bloß festgestellt, daß nach Aussage des Historikers H. Hufen die Verteilung der sich bekämpfenden Kräfte folgende war: auf der einen Seite die Fraktion um den Vorsitzenden einer großen Emigrantenvereinigung, General Biskupski, der von der Gestapo unterstützt wurde, auf der anderen Seite die Gruppe um Despotuli und den General von Lampe, die einen nicht weniger seriösen Schutzherrn hatte, nämlich das Ostministerium unter Rosenberg.

В газете регулярно выступали сотрудничавшие еще в „Нашем веке“ А. Бунге, Р. Энгель. Князь С. Оболенский призывал со страниц „Нового слова“ к объединению русских для борьбы с Москвой. Ведущим сотрудником издания был также бывший штатный поэт „Возрождения России“, в будущем - организатор русской добровольческой армии под Смоленском, В. Ларионов.

Газете „Новое слово“ не раз на протяжении одиннадцати лет ее существования пришлось пережить взлеты и падения в связи с изменениями линии нацистской партии. А закрыта она была за ненадобностью, когда стала очевидной несостоятельность „восточной политики“ Розенберга.

Не будем подробно останавливаться на содержании печатной продукции Деспотули, приведем только дневниковую запись Нины Берберовой, сделанную в ноябре 1942 года: „Достаточно прочесть два номера берлинской газеты „Новое слово“, чтобы понять всю ничтожность, лакейство, всю подлость русской души, когда она хочет выслужиться, отличиться“. (Н. Берберова, „Курсив мой“, 1942).

Заключение

Сегодня в прессе можно нередко встретить слова оправдания, разумеется, со множественством оговорок, в адрес русских эмигрантов, принявших фашизм. Русских национал-социалистов в Германии пытаются даже представить как заблудших патриотов, якобы надеявшихся на освобождение родины с помощью Вермахта, но ошибшихся в Гитлере.

В самом деле, нельзя не признать, что русская эмиграция оказалась в тридцатые и сороковые годы в крайне тяжелом, двусмысленном положении между фашизмом и большевизмом. Причем, не только в Германии. Особенно отчетливо это видно из истории эмигрантской печати. В тридцатые годы наряду с демократической прессой во всем мире выходили издания русских националистов. Среди них - „Голос России“ в Софии, „Возрождение“ в Париже, „Наш путь“ и „Нация“ в Харбине, „Часовой“ в Белграде, „Россия“ в Нью-Йорке. Однако русский фашизм скорее следовало бы назвать продолжением тех черносотенных традиций, которые выплеснулись в Европу вместе с русской эмиграцией и нашли именно в Германии наиболее благодатную почву.

Впрочем, не стоит объяснять все исключительно „идеализмом“, пусть и черносотенным. Материальные интересы также играли существенную роль. Известно, что именно в условиях эмиграции, на чужбине,

особенно ожесточается борьба за место под солнцем. Фиксация гитлеровского режима на большевизме, то есть на России, вселяла в нищих и голодных пришельцев надежду, что их услуги могут еще понадобиться новым хозяевам. Стремление доказать собственную полезность Третьему Рейху красной нитью проходит через публикации „Возрождения России“ и „Нового слова“. Газеты наперебой отмежевывались от „неправильных“ русских из большевистской России, подчеркивали собственную духовную и кровную связь с Германией, одним словом, навязчиво добивались немецкой любви и близости. Одни действовали менее успешно, например, „Голос России“, работавший наскоком. Другие, более удачливые („Новое слово“), получили после долгих ухаживаний роль фаворитов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что сказанное выше касается лишь небольшой части русской эмиграции. Большинство наших соотечественников сделало свой выбор, покинув Третий Рейх, а многие из тех, кто не сумел этого сделать, не принимали участия в „культурной жизни“ диаспоры.

Этот выбор был вполне сознательным, ибо избежать знакомства с „подлинным лицом“ гитлеризма было невозможно. Об этом писал позднее в романе „Другие берега“ Владимир Набоков, которому лишь с трудом удалось выехать из Германии в 1937 году: „...из всех окон доносятся хриплый рев диктатора, бывшего себя в грудь, нечленораздельно ораторствующего в Неандертальской долине... Нашему мальчику было около трех лет в тот день в Берлине, где конечно никто не мог избежать знакомства с портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров“.

„Ангел мира“.



В 1933 году „цивилизованный“ мир приобрел подходящего кандидата на Нобелевскую премию. Торжество в Израиле! Радуйся III Интернационал!

Русско- немецкий счет

От редакции

Памфлет Фридриха Горенштейна "Товарищу Маца - литературоведу и человеку, а также его потомкам", опубликованный в литературном выпуске "Зеркала Загадок" за 1997 год, получил самые различные отклики в прессе. "Труд Горенштейна сразу же после своего появления в январе вызвал скандал в кругах русской эмиграции", - сообщила "Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг". Памфлет не обошла вниманием и российская критика. Среди рецензентов - Лев Аннинский, известный литературный и театральный критик, автор многих книг, среди которых - "Лесковское ожерелье", "Фельетоны Булгакова", "Билет в рай", "Литература 80-х годов. Надежды, реальности, парадоксы", а также сборник статей "Локти и крылья" и др. В предлагаемой читателю статье Аннинский останавливается, однако, лишь на "немецкой" теме памфлета, оставляя за скобками прочие затронутые Горенштейном вопросы.

Два человека почти одновременно высказались на эту тему. Один сказал: не люблю немцев, другой: люблю немцев. Первый сказанное устыдился, преодолел себя, покаялся. Второй объяснил: мне не с чего было их любить, но я пожил в Германии и - полюбил.

Оба они там пожили. Один - дитя антифашистов-изгнанников - пожил в ГДР в юности по пути из США в СССР. Другой попал в Германию в зрелости, когда был выдворен из СССР в изгнание.

Один - известнейший телекомментатор, другой - известнейший писатель.

Оба: Владимир Познер и Фридрих Горенштейн - вызывают мое искреннее уважение и неизменную симпатию. Пронзительный этюд Познера наш читатель разыщет в журнале "Дружба народов" в октябрьском номере за 1997 год. Горенштейн же напечатал свою работу в литературном выпуске журнала "Зеркало Загадок".

Я хочу сопоставить их позиции не с тем, чтобы решить, кто более прав, а чтобы понять, что с ними (с нами) происходит. С нами - то есть и в моей собственной душе. И вообще, и после прочтения вышеупомянутых авторов.

Познер свою нелюбовь к немцам никогда раньше не анализировал, он воспринимал ее как данность и жил в этой нелюбви, не задумываясь. Бог проучил его - послал зятя-немца, прекрасного человека. Однажды зять сказал: "Знаешь, мне иногда стыдно, что я немец". Познер был потрясен. Он подумал - вот ведь, немцам хватает мужества осудить себя за гитлеризм. А нам покаяться в сталинизме - мужества не хватает. А раз так, то - "Без настоящего покаяния будем ходить горбатыми".

Мысленно примеряю все это к себе. Я тоже - дитявойны, и тоже потерял родных: отца - "на советско-германском фронте", родственников в душегубке. Немцы в мою

Zu der Zeit, als die Ordnungshüter der Gestapo bestrebt waren, eine russische Zeitung zu gründen, die unmittelbar der Nazipartei untergeordnet war, war der schwärmerische Blick Rosenbergs nach Osten gerichtet. In der Zeitung, die gegründet wurde, sah er nicht so sehr einen Mentor der russischen Kolonie Berlins, wie es die bodennahen Gestapoleute haben wollten, sondern eher den zukünftigen Mentor einer Kolonie von sehr viel größerem Ausmaß.

Nach langem Hin und Her trug die „schöne Idee“ des Kommandos von Despotuli den Sieg davon, der auch Chefredakteur der „Nowoje Slowo“ wurde. Schon 1935 hatte die Zeitung eine Auflage von 3500 Exemplaren. Später, im Sommer 1943, erreichte sie die Rekordhöhe von 50 000 Exemplaren, da die Zeitung jetzt auch in den besetzten Gebieten der UdSSR verbreitet wurde.

Am Vorabend des Kriegs mit der Sowjetunion publizierte Despotuli, der zu dem Zeitpunkt schon einem ganzen Verlag vorstand, auch noch die Zeitungen „Nowaja Shisn“ („Neues Leben“), „Paschnja“ („Ackerland“) und „Trud“ („Arbeit“). Am 22. Juni 1942 begrüßte die Zeitung „Nowoje Slowo“ in einer Sonderausgabe den „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“.

Die Zeitung „Nowoje Slowo“ mußte während der elf Jahre ihrer Existenz im Zusammenhang mit Änderungen der nationalsozialistischen Parteilinie mehrere Höhen und Tiefen durchleben. Und geschlossen wurde sie wegen ihrer Nutzlosigkeit, als die Haltlosigkeit von Rosenbergs „Ostpolitik“ offensichtlich wurde.

Wir wollen uns nicht eingehender mit dem Inhalt der Presseerzeugnisse von Despotuli aufhalten, deshalb führen wir nur eine Notiz von Nina Berberowa vom November 1942 an: „Es reicht, zwei Nummern der Berliner Zeitung „Nowoje Slowo“ zu lesen, um die Armseligkeit, Kriecherei, die ganze Niedertracht der russischen Seele zu verstehen, wenn sie sich beliebt machen, hervortun will“ (N. Berberowa, „Mein Kursiv“, 1942)

5.

Heute kann man in der Presse oft Worte der Rechtfertigung, natürlich mit unzähligen Vorbehalten, für die russischen Emigranten finden, die Faschisten geworden sind. Die russischen Nationalsozialisten in Berlin versucht man sogar als virierte Patrioten darzustellen, die angeblich auf die Befreiung der Heimat mit Hilfe der Wehrmacht gehofft haben, sich aber in Hitler geirrt hätten.

In der Tat kann man nicht abstreiten, daß sich unsere Emigranten in den dreißiger und vierziger Jahren in einer außerordentlich schweren, zweideutigen Lage zwischen Faschismus und Bolschewismus befunden haben. Den russischen Faschismus muß man jedoch richtiger eine Fortsetzung der Tradition der Schwarzen Hundertschaften nennen, die sich zusammen mit der russischen Emigration über ganz Europa ausgegossen hatten und gerade in Deutschland auf den fruchtbarsten Boden gestoßen waren.

Im übrigen lohnt es sich nicht, alles ausschließlich aus dem „Idealismus“ zu erklären, und sei es dem der Hundertschaftler. Die materiellen Interessen spielten auch eine wesentliche Rolle. Es ist bekannt, daß vor allem unter den Bedingungen der Emigration in der Fremde der Kampf um den Platz an der Sonne besonders erbittert geführt wird. Die Fixierung von Hitlers Regime auf den Bolschewismus, das heißt auf Rußland, flößte den armen und hungrigen Zuwanderern die Hoffnung ein, daß die neuen Herrn ihre Dienste noch gebrauchen könnten. Das Streben, dem Dritten Reich seine eigene Nützlichkeit zu beweisen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Publikationen „Wosroshdenie Rossii“ und „Nowoje Slowo“.

Zum Abschluß möchten wir unterstreichen, daß das oben Gesagte nur einen kleinen Teil der russischen Emigration betrifft. Die Mehrheit unserer Landsleute traf ihre Wahl, indem sie das Dritte Reich verließ, und viele von denen, die das nicht tun konnten, nahmen keinen Anteil am „kulturellen Leben“ der Diaspora.

Diese Wahl traf man völlig bewußt, denn der Bekanntschaft mit dem „wahren Gesicht“ des Hitlerismus auszuweichen, war unmöglich. Darüber schrieb später in dem Roman „Andere Ufer“ Wladimir Nabokow, dem es nur mit Schwierigkeiten 1937 gelang, aus Deutschland auszureisen: „... aus allen Fenstern hallte das heisere Brüllen des Diktators, der sich auf die Brust schlug und unzusammenhängend das große Wort führte im Tal der Neandertaler... Unser Junge war ungefähr drei Jahre alt an jenem Tag in Berlin, in dem natürlich niemand der Bekanntschaft mit dem Führerporträt ausweichen konnte, als ich mit ihm vor einem Beet bleicher Stiefmütterchen stehen blieb: auf dem Gesichtchen eines jeden Blümchens war ein schwarzer Fleck ähnlich einem Schnauzbartflecks, und auf mein ziemlich dummes Betreiben, erkannte er mit einem himmlischen Lachen in ihnen eine Menge nach dem Wind wütender kleiner Hitlers“.

(gekürzte Fassung des russischen Textes)

жизнь вошли - как знак смерти. Я был обречен на всю жизнь - мучительно освобождаться от этого ужаса. Мучительно - из-за бессилия ума и души: я не мог объяснить себе, как народ, давший миру Бетховена, породил эсэсовцев. Я этого связать не мог: не укладывалось. Были Карлы Иванычи, учившие музыке наших дворянских недорослей. Были Кант, Шеллинг, Гегель... Был народ, научивший философии человечество, - как на этом месте мог произрасти Гитлер? Такое невозможно было понять, а не поняв, невозможно жить.

У каждого из нас это общее понятие "немцы" - разбивалось о личные привязанности, так что самое это слово: "немцы" - лучше было бы не употреблять вовсе. Однажды я вляпался, сморозил, брякнул - и мое интервью выпорхнуло в печать со следующим пассажем: я, мол, немцев не люблю, но не могу не уважать, нас же, русских, невозможно не любить, а вот уважать трудно.

Моя старинная, с университетских лет еще, приятельница, вышедшая замуж за немца, прочтя это, спросила с непередаваемо участливой интонацией "Не любишь немцев?" Муж ее (замечательный человек, пылкий гэдэровец, влюбленный в Россию) не сказал ни слова, он только посмотрел, но этого взгляда хватило мне, чтобы сгореть от стыда.

Это вообще чудовищный риск: оперировать такими понятиями, как "немцы", "русские", "евреи", "негры" и т.п. Это такая же ловушка, как коллективное "покаяние"

"Без настоящего покаяния будем ходить горбатыми"? А что это такое: "настоящее покаяние"? "Мы не осудили своих палачей..."

Не понимаю. У меня нет "своих палачей", и я не уверен, что в это познеровское "мы" не вотрут очередные кандидаты в будущие палачи. Покаяние может быть только личное, оно - акт глубоко интимный, духовно интимный. Когда германский канцлер является к Стене Плача, чтобы "попросить прощения" у "еврейского народа", - я воспринимаю это так, что у данного немца болит его, лично его, совесть, а канцлер он там или слесарь, - это уже, простите, "пропаганда". Пропаганда тоже имеет свой смысл, и лучше, когда президент кается, чем когда похваливает фюрера. Но официальное покаяние мало говорит о том, что происходит в таинственной глубине душ. Скорее оно прикрывает эту тайну.

Да, "немцы" покаяться. Гласно, официально, дружно. Фридрих Горенштейн, живущий в Берлине и полюбивший немцев (потому что он их "понял" - понял "их беду") описывает это покаяние, что называется, как очевидец. Дело в том, что покаянье там - именно общественное, официальное, гласное, однако "в своем кругу" оно как-то не принято...

Впрочем, я лучше поподробнее процитирую самого Горенштейна. Он пишет:

"...Нынешние немцы - это народ, который сам себе не доверяет, который сам у себя на подозрении, который сам о себе думает с тревогой: не натворим ли еще чего ужасного? Попробуй, заговори с самыми дружественными из них о гитлеризме - и видно, что этот разговор им неприятен, что они беспомощны перед таким разговором. Но, с другой стороны, говорят много, правда, не столько в тесном дружественном кругу, а публично - в прессе, на телевидении, потому что на миру и смерть красна. Публичность смягчает неприятные истины, особенно тягостные наедине. Во всяком случае, гитлеризм, как правило, - не тема семейных разговоров".

Это и есть то самое "общественное покаяние" - от имени "мы" - до которого мы "не дошли" и к которому призывает нас Познер.

Попробуем вдуматься. Итак, грешны "они" (нацисты), и грешны "мы" (большевики). Что же, совершенно нет разницы? А если есть, то где она? Не в лозунгах же военных лет! А

может она, эта разница, лежит в самом основании этих чумных поветрий?

Для В. Познера это два варианта одного и того же помрачения. "Правда, мы извели поменьше чужого народа - уточняет он, - зато своего - вдесятеро".

Не спорю с Познером, в известном смысле - "одно и то же". Гитлер и Сталин - близнецы... для такого сближения еще лет десять назад требовалось изрядное мужество; я не только о том, что это трудно было высказать вслух (могли вспасть по идеологической линии) - это трудно было вместить - тут требовалось мужество мысли. Но когда Познер говорит, что мы извели меньше "чужого" народа и больше "своего" - он приоткрывает ту самую таинственную глубину трагедии, которая за теорией близнецов не всегда видна. Речь идет о том, что такое свой и чужой в том и в этом варианте чумы.

Для большевизма свой - тот, кто убежден в правоте дела и сознательно становится на этот путь. Да, Сталин извел вдесятеро больше народа, он чистил ряды, он уничтожал колеблющихся, он выжигал потенциальных предателей, - но этот ужас был, так сказать, в пределах человеческого выбора (и расплаты за выбор). Если свой "оказывался" чужим, - его стирали в пыль. Но интересно, что даже в конце тридцатых годов, когда в пыль стирали миллионами, - не было формулы "расстрелян враг народа", а употреблялась формула "расстрелян как враг народа". Анатолий Стреляный, заметивший эту особенность тогдашнего языка, истолковывает ее очень точно; это значит: расстрелян в качестве врага народа, по списку врагов народа, в роли врага народа. То есть это "свои", которые повернулись к "чужим".

Гитлер изводил чужих, которые являлись чужими изначально и бесповоротно. Выбора не было, выбор был вынесен за пределы сознания - в сферу крови, рода, наследственности, которой человек не выбирает. Чужого травили газом не потому, что он "оказывался" чужим, а потому, что "был" им. От природы. Меченый.

Это и есть иррациональный ужас, и он вошел в мое детское сознание именно как иррациональный ужас. Последний сигнал долетел уже из "бункера", в мае 1945 года, когда адмирал Дениц послал Сталину сообщение о смерти Гитлера "Первому из немцев сообщаю Вам..."

"Из немцев". Вот это и есть то самое... Немцы - и "ненемцы". Мы все были - "ненемцы". Неважно, кто мы, какие мы, в чем убеждены и какой путь выбрали. Мы - "ненемцы".

О, сколько впоследствии такого же яда, но с другими этикетками влили в мои уши! И "нерусские" и "неевреи", и "не...", "не...", "не..." Но первыми - эти самые "ненемцы" 1945 года - были вколочены в душу намертво.

Разумеется, они строили новый порядок не только для себя, но для всей Европы, и, конечно, "ненемцам" в этом порядке тоже были расписаны роли (кому в шахту, кому в ров, кому в лакейскую), но базис был - вот такой, химически чистый. И, разумеется, ни черта бы у них не выгорело, даже если бы они дошли до Урала, - все равно добрейшие Карлы Иванычи, полюбившие Россию, опять принялись бы учить нас музыке, а Шеллинг с Кантом - звездному небу над нами и нравственному закону внутри нас (правда, я бы уже не услышал - вылетел бы к небу в газовую трубу). И, разумеется, человечество как таковое - сильнее любой прицепившейся к нему хвори, но...

Но Германия - единственная в Европе страна, где гражданство определяется прежде всего по "наследуемой крови" (в Европе, а не в мире - потому что вне Европы найдется нечто близкое, в том же Израиле). Этот немецкий закон не отменен до сих пор. А принят он - в 1913 году. И отнюдь

не Гитлером. И еще до первой мировой войны, которая во многом оттого и разразилась, что человечество было поражено национализмом. Немцы, со свойственной им последовательностью, просто довели это до логического конца.

Но почему, почему? Почему талантливый, одареннейший народ оказался скручен этой хворью?

Познер говорит: помрачение. Помрачение, а потом - покаяние и выздоровление. Горенштейн говорит иное. Помрачение - это то, что было С НАМИ.

“Сталинизм - наружная болезнь. Рабство - болезнь угнетенных, несвободных. А гитлеризм - болезнь свободных людей. Можно спорить только об одном: 99 процентов или 98 процентов немцев поддерживали Гитлера. И немцы это о себе знают, и немцы этого не опровергают”.

Девяносто восемь или девяносто девять? Жутковатая статистика. У нас малость “полегче”. Большевики в 1918 году набирали процентов двенадцать-тринадцать. Чем взяли? Напором, нахрапом... Всех скрутили, головы задурили, в лагерь загнали. Потому нам и покаяние кажется спасительным: это все-таки не “мы”; это “они”, “палачи”.

А когда 98 процентов?

Горенштейн, правда, имеет про запас еще одну “парадигму”: если российская катастрофа 1917 года - следствие слепого народопоклонства, то германская, 1932 года, - наоборот, от слепого чинопочитания: пролез наверх австрийский псих, и немцы подчинились. Потому что - начальство!

Различие мнимое, хотя и эффективное, впрочем, вполне традиционное. Только вот, народопоклонство-то русское развилось во многом под влиянием немецких романтиков, которые к народу относились с большим пиететом; в политике же панславизм был как бы ответом на пангерманизм. Далее любой специалист по германской

истории вернет мне аргумент и скажет, что пангерманизм в свою очередь был немецким ответом на австрийско-славянскую чресполось и свистопляску: сквозило с Балкан, с Карпат - заслонились. Тут, взаимно отражаясь в зеркалах, так друг друга подначивали славяне и немцы (кто скорей), что где там чинопочитание, а где народопоклонство, делить не будем (тем более, что наш скромный народный вождь в конце концов взял себе чин генералиссимуса, до которого “австрийский псих” не додумался).

А вот психологическая плоть “там” и “тут” действительно разная. И отсюда - разная возможность дать задний ход, очиститься, то есть считать бывшее небывшим или, во всяком случае, поклясться себе и миру, что больше такое не повторится. Мы, русские, в 1947 году были “не те”, что до 1917-го. Теперь мы “не те”, что были в 1947-м. Завтра опять будем “не те”. Мы вечно - “не те”.

У немцев вроде бы то же самое. Горенштейн пишет: “Никогда немцы после Гитлера не будут тем народом, каким они были до Гитлера”.

Однако нацизм, принятый свободно, девяносто восемь (или девяносто?) процентами народа, - это не совсем то, что масонский коклюш, занесенный “призраком” из Европы и заразивший здоровый организм вольных россиян, не так ли?

Не так, дорогие сограждане. “Призраки” бродят одни и те же. Организмы разные.

Вдумываясь в особенности “немецкого” духовного организма, Ф. Горенштейн четко отделяет его от организма “австрийского” (кавычу то и другое, потому что это не нации, а типы).

Тип “австрийский”. Рядом - Балканы, чресполосье вер, конфессий, этносов, не смешивающихся, стиснутых самостийностей. Пороховой погреб. Хаос. Непредсказуемость. “Невменяемость”.

Как “немцу” приспособиться к “невменяемости”? “Немец” поневоле превращается - в “австрийца”.

“Австрийская немецкость сочетается с балканским сознанием и даже балканским образом бытия...”

“То, чем для России была нижняя Волга, впадающая в Азию и Кавказ, для Австрии были Балканы, Далмация, Словения, Хорватия, Сербия с их постоянным политическим субъективством, национальным разбоем, взаимной ненавистью, пожарами, имеющими свойство распространяться широко...”

“В пределах империи Габсбургов на границе Румынии и Сербии в красивой

до жути, зеленой и влажной местности - родина вурдалаков, вервольфов, мертвецов-кровопийц, так поэтически описанных Пушкиным в “Песнях западных славян”. А в верхней Австрии - гористой местности, орошаемой Дунаем, богатой озерами, поросшей богемским лесом, в городе Браунау близ Линца - родина Гитлера. (О Сталине говорили “горный орел” но “горным орлом”, оказывается, был и Гитлер”).

В последнем образном сближении чувствуется уже не Горенштейн-исследователь, а Горенштейн-писатель, саркастический и желчный. Но это не отменяет той дотошности, с какой он исследует соотношение двух немецких типов: “пруссского” (рискну употребить это привычное определение) и “австрийского”. Вплоть до статистики.

Статистика-то и поражает.

“Население Австрии составляет 8 процентов от населения Германии, а в SS австрийцев было 50 процентов. То же соотношение - среди комендантов и охраны концлагерей. Но при том австрийцы ухитрились выдать себя не за палачей, а за жертв. Государство - да, но не население”.

Интересно все-таки сопрячь эти две цифры. Нацизм поддерживает девяносто восемь из ста (или девяносто девять?) немцев (в данном случае я имею в виду “немецких немцев”, “пруссских”, так сказать). А в эсэсовцы, охранники, в “автоматчики Бабьего Яра и кочегары Треблинки” идут “австрийцы”. Идут иной раз поневоле, иной раз по низости, трусости, мерзости, а иной раз и по той самой “балканской” слепой ярости “против всех”, о которой было сказано выше. Однако “настоящий” немец туда, к газовой печке, не идет. Хотя приказы фюрера (который готов сам встать к печке!) выполняет пунктуально. И поддерживает фюрера безоговорочно.

Тут есть какая-то загадка, какая-то глубинная тайна немецкого духа. Какая-то смутная связь между “землей” и “небом” - в чисто немецком очарованно-сумеречном варианте. Немец - “человек земли”, именно человек и именно земли: отсюда - несторианские корни классической философии, как бы примеряющей человека на место Бога, отсюда - и немецкое жизнеустройство, последовательное и логичное. Но немец одновременно - и “человек неба”, прямо соединяющий звезды с нравственным законом.

“Прямо”! Ступеней, люфтов, допусков - нет. Невменяемая грязь бытия (автоматы Бабьего Яра и печи Треблинки) ставит немца в духовный тупик. Лучше, когда этим займутся другие. Немец не выно-



сит непредсказуемости, он на этом сламывается.

“Никогда немцы после Гитлера не будут тем народом, каким они были до Гитлера”.

Потому что они свободно выбрали гитлеризм и хотели бы за этот выбор ответить. После краха - ответить нечем.

“Поэтому нынешние немцы - это народ, который сам себе не доверяет... Публичность смягчает неприятные истины, особенно тягостные наедине. Во всяком случае, гитлеризм, как правило, - не тема семейных разговоров”.

Казенное покаяние - пожалуйста. Но в глубине души (в бездне духа) немец остается в горестном отчаянии от того, что произошло, то есть от того, что мир не подчинился “правильной системе”. Он, немец, готов был пожертвовать собой ради того, чтобы мир улучшился. Он, Нибелунг, рыцарь... Но - мир оказался слаб, коварен, пестр, грязен, пег. “Австрийский немец” еще как-то попробовал с этим справиться (“славянский немец”, Иозеф Швейк, справился виртуозно). “Немецкий немец” должен был перестать быть собой.

Горенштейн находит формулу: “Немцы такого рода, активные или пассивные, никогда не смогут простить евреям тех преступлений, которые они (немцы - Л. А.) против них совершили”. Формула страшная - для евреев. В смысле чудовищной по отношению к ним несправедливости, продолжающей царить “в мире”. Горенштейн пишет об этом подробно, в сущности, его работа и посвящена судьбе еврейства: называется она соответственно - “Товарищу Маца - литературоведу и человеку, а также его потомкам”. Маца - литературовед сталинских времен, его фамилия позволила Горенштейну скаламбурить на кошерную тему. Прием грубоватый, мне не нравится, но речь о той боли, которая побуждает к подобным обострениям.

Другая боль Горенштейна - Россия. Точнее, не боль, а ярость по адресу критиков, которые заподозрили Горенштейна в неуважении или неблагодарности по отношению к России. Он этих критиков топчет с бешенством, на мой взгляд, неоправданным, но дело опять-таки в боли, которая не только лишает человека чувства меры, но и диктует окраску обвинений: поскольку все эти критики (во всяком случае, в представлении Горенштейна) - еврей-либералы, то еврейская и русская темы смешиваются у него в один гневный поток. Я из этого потока выделяю одну струю германскую. Так вот, если прочесть горенштейновскую эпиграфическую “немецкому немцу” не с еврейской или русской точек зрения, а с точ-

ки зрения самого этого немца, - она приобретает следующий глобальный смысл:

- Немец никогда не простит миру тех преступлений, которые он против этого мира совершил.

Совершил, как он уверен, ради блага этого же мира. Совершил - с сознанием своей обреченности в борьбе с этим миром. Совершил - жертвенно-безнадежно. Как Нибелунг, который должен погибнуть.

Эта потаенная трагедия немецкой души с болью открылась мне, когда судьба занесла меня в Мальборк. Грандиозный рыцарский замок несколько столетий выситя среди польских полей. То, что там полно мечей, знамен и крестов, меня не удивило. Меня потрясло то, чему я раньше как-то не придавал значения: центральное место в замке занимает - Госпиталь. Место, где покаленные и изнеможенные рыцари лежат и доживают дни. Это, стало быть запрограммировано: самопожертвование рыцаря, его гибель в борьбе с неподдающимся миром.

Идет концентрация Духа и Материи: Рыцарь строит Замок. Он не идет “в поля”, не смешивается с “земной грязью”; он возводит стены. огораживается и отгораживается; он кладет камень на камень, тянет башню к небу, возвышаясь над “хаосом”.

А “хаос” захлестывает...

Почему две мировые войны, располозовавшие общечеловеческую историю, с такой силой втянули именно русских с немцами? Что нам с ними было делить, нам с ними - психологически созданным для взаимодополнения? Идеология? Но в фатальное противостояние “коммунизма” и “фашизма” верится плохо; это все наркот: никакой идеологической несовместимости не было и в 1914-м (а 1941-й - продолжение 1914-го? Откуда такой взрыв? Никакой “династической несовместимости” тоже не было: на питерском троне уже двести лет сидели те же самые немцы, которые усердно “цивилизировали” Россию от “губернской” структуры, которую императорской волей налаживала Екатерина, до “заводской”, которую “железной волей” налаживал лесковский инженер Пекторалис, укормленный нами до смерти, - усердно они ее обустроивали и обреченно. Так немецкая запредельная жестокость - не с отчаяния ли, что на российской почве все у них “ползет и кренится”, и железные волевые цивилизаторы русеют, то есть пьют и мрут, обжираясь блинами?

У Гоголя немец, безвинно упеченный в тюрюгу по русской подлости, спраши-

вает наших негодяев: “Зачем вы это со мной сделали?” - Наши отвечают: “Полюби нас чернинькими, а белинькими нас всякий полюбит”. Фраза эта недаром вошла в русский менталитет - долго мы про себя ничего равного не услышали, вплоть до гениального “Хотели как лучше, а получилось как всегда”. В сущности, на ту же тему.

Так чем должна была казаться Сталинская держава тому немцу, который в начале 30-х годов на 98 или 99 процентов поддержал Гитлера? Чем-то невременным, неумолимым, неуловимым для логики и смертельно опасным. Наверное, мы этому немцу казались - Ордой, наподобие Чингизовой. Ему, немцу, из его “башни” не различить было “нюансов”: ни того, что русские - исторически - сами жертвы Орды, ни того, где там “татары”, где “монголы”; для немца “русские”, остервеневшие в большевизме, были - как для Руси когда-то “татары”: синонимом хаоса, сметающего космос, “лавы”, заливающей “Город”.

Поэтому его, немца, вторжение в наши пространства - упреждающий удар. Которому нет оправдания. Но есть объяснение.

Я понимаю: для моего сознания, созревшего под похоронки 41-го года, “немец” - такой же неизбывный - кошмар навсегда, как для немца - кошмар ожидаемого сталинского нашествия, сначала брезживший в чингизхановском мареве, а потом и ворвавшийся из теории в реальность. Поэтому я не хочу меряться бедами, не могу ни обвинять, ни каяться: странно мне полвека спустя обвинять тех, кто давно в могиле, и каяться, кощунственно прощая палачей от имени жертв, которые тоже лежат в могиле, причем вместо меня.

По замечательному выражению Горенштейна, это называется: демонстрировать всепрощение, подставляя чужую щеку.

Не каяться нужно. Нужно понять немцев. Понять их боль, их трагедию.

Когда-то меня потрясло в финале романа Ирвина Шоу “Молодые львы” то место, где американец говорит немцу уже убитому:

- Когда ты звал меня через Ла-Манш и кричал мне о своей боли, - я не услышал...

А уж когда Дрезден в руинах, и Сталинград в руинах, и от Ковентри ничего, и от Варшавы ничего, - чем тут считаться?

Горбатый кается - чужого горба ищет.

Гармония или свобода

Когда я слышу или читаю о “зверином лице фашизма”, об атавистических инстинктах, пробуждающихся в эпохи общественных смут, мне всегда хочется возразить: звери никогда не убивают во имя идеалов. Один из множества трагических ликов жизни - опаснее всего не то, что сближает нас с животными, а то, что над ними возвышает: способность творить воображаемые миры столь ослепительно прекрасные, что уже не атавистическая злоба, не корысть, а святой долг велит уничтожать каждого, кто встанет на пути к дивному миру. Как справедливо заметил Бернард Шоу, во имя добра проливалось неизмеримо больше крови, чем во имя зла. Однако еще больше удручает то, что эти реки крови чаще всего проливались не просто в стремлении к совершенству, но в стремлении к совершенству невозможному.

Руссо был убежден и, к несчастью, сумел убедить тысячи других пламенных преобразователей, что народовластие, подчинение государства воле большинства автоматически установит царство свободы и равенства. Кант доказывал, что рано или поздно человечество упокоится под властью единого закона, ибо стремление к согласию с принципами универсального права есть неустраняемая потребность нашего разума. Гегель указывал и средство, благодаря которому право воцарится в мире - это “воплощение нравственной идеи”, правовое государство: разумная природа человека требует государства “и потому его производит”. Собственно, построив правовое государство, пусть и несовершенное, человечество уже вступило в “последнюю фазу истории”.

Примерно те же фразы о “конце истории” в качестве некой интеллектуальной новинки приходится слышать применительно к рыночной либеральной демократии и сегодня, однако, еще полтора века назад изобретатель слова “социология” Огюст Конт впол-

не, как ему казалось, научно предрекал, что человечество находится на пороге окончательного умиротворения, а избранная его часть так уже и за порогом: “Как только будет достигнуто объединение умов посредством общности принципов, из него с необходимостью без всяких тяжких потрясений вытекут соответствующие учреждения”. Объединение же умов будет достигнуто всеобщим их подчинением неоспоримым истинам науки, которая представлялась Конту чем-то вроде новой церкви, только овладевающей умами не силой чуда, тайны и авторитета, а могуществом научного доказательства.

Спенсер в дальнейшем даже раскрыл механизм, посредством которого на земле воцарится всеобщее согласие: разделение труда и свободный обмен рано или поздно вынудят авторитарные общества военного типа эволюционировать в общества промышленного типа, где равенство спроса и предложения приведет к стиранию граней между эгоизмом и альтруизмом, после чего установится и вечная гармония индивидуальности и общества.

Спенсер уповал на эволюцию - Маркс на революцию: гармония личности и общества настанет тогда, когда будет уничтожена главная причина всех раздоров - частная собственность. К сожалению, и сегодня в политических прениях то и дело можно обнаружить рудименты обеих этих утопий, несмотря на то, что выдающийся исследователь утопических учений Павел Иванович Новгородцев в своем классическом труде “Об общественном идеале”, опубликованном в минуту высшего торжества марксистской грезы - в 1917 году, несколько преждевременно подвел итог вековых исканий: “Перед нами совершается крушение одной очень старой веры, - веры в возможность земного рая”.

Утопические фантазии неосуществи-

мы вовсе не потому, что для их реализации недостает каких-то технических средств (“материальной базы”) - они неосуществимы из-за того, что включают в себя отрицающие друг друга элементы: свободу и равенство, свободу и бесконфликтность, свободу и предсказуемость (“уверенность в завтрашнем дне”). На самом же деле, свободное развитие личности приводит к возникновению столь разнообразных и непредсказуемых индивидуальных потребностей, что их океан неизбежно размоет твердьню равенства. Нахлынувшее разнообразие интересов с той же неизбежностью увеличит количество их столкновений - о бесконфликтности придется забыть точно так же, как и о предсказуемости: неведомые нам разновидности противоречий потребуют и неведомых ныне способов примирения.

Уже и сегодня множество конфликтов носит трагический характер: сталкивается не добро со злом, а разные виды добра. Не только корыстные интересы, но и самые, можно сказать, идеальные наши обязанности приходят в противоречие друг с другом: обязанности перед своими дарованиями, обязанности перед друзьями, перед семьей, перед государством, перед своей профессиональной, конфессиональной, национальной группой - все они неизбежно сталкиваются друг с другом. И если не заметить, что через посредство сложнейших связей они вместе с тем поддерживают и питают друг друга, то очень легко вообразить, будто жизнь есть одна сплошная борьба - борьба классов, этносов, конфессий, профессий... Стоит вместо сложной схемы “взаимное соперничество и одновременно взаимное обогащение” принять простую схему “соперничество до полного уничтожения” - и уже останется один шаг до фашистской идеологии того или иного колорита, - если даже ты при этом руководствуешься самыми благими намерениями.

Опасности свободного развития, с неизбежностью порождающего массу неуправляемого и “ненужного”, “паразитического”, внушали вполне обоснованную тревогу и выдающимся умам. Гениальный Платон желал превратить граждан в некие однофункциональные детали государственного механизма. Для сохранения же их согласия оставаться таковыми предполагалось составить хоры, которые на все лады твердили бы гражданам, что счастье можно обрести лишь на раз и навсегда предписанных путях.

Фихте полагал не столь важным управлять чувствами граждан, сколько их поступками: его идеальное гармоническое общество являло собою идеал полицейского государства, в котором, словно в замаятинском “Мы”, полицейский надзор не оставляет граждан ни днем, ни ночью. Зато, избавленные от свободы, они избавлены и от забот.

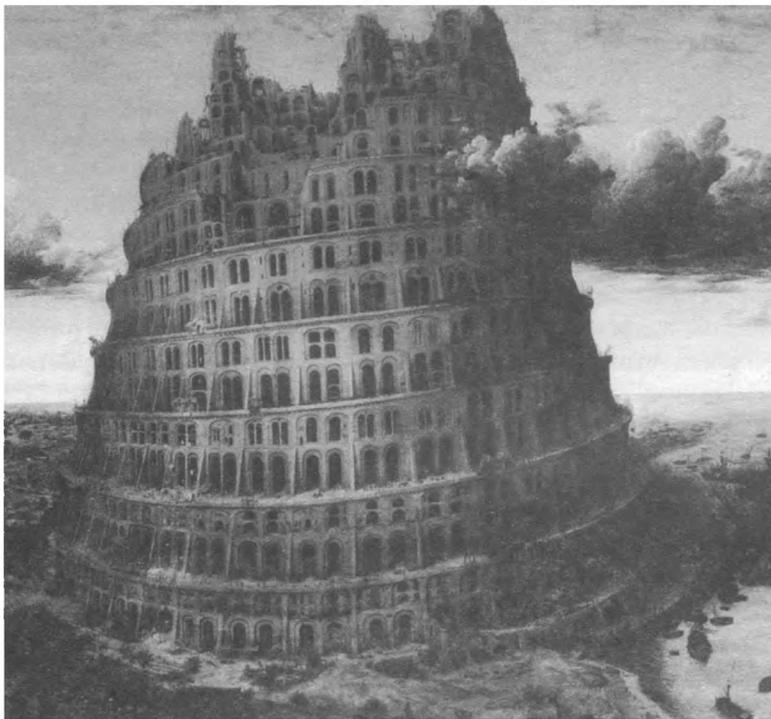
Новгородцев тоже прекрасно понимал опасности, связанные со свободой, он прямо говорил: “Или гармония, или свобода”. Но уничтожить свободу во имя покоя он считал недопустимым: ни отдельный человек, ни целый народ не должен даже ради сохранения жизни или независимости отказываться от дальнейшего развития и совершенствования, не нужно думать, что жизнь “дороже тех продуктов, которые она создает, - тех мыслей, тех дел, которые она производит”.

Историческую ставку Новгородцев предлагал делать не на идеальное общественное устройство, а на непреклонную личность, постоянно стремящуюся к вечно усложняющейся цели. Идеал, провозглашаемый им, должен быть столь всеобъемлющим, чтобы под его сенью мог найти место каждый. Новгородцев называет его то “принципом всеобщего объединения на началах равенства и свободы”, то просто “вечным идеалом добра” - к нему-то, по убеждению Новгородцева, и должна неустанно стремиться “непреклонная личность” - оставив, однако, надежду когда-нибудь его обрести.

Идеальная конструкция Новгородцева уже не допускает перерастания в фашизм, главная мечта которого - сделать жизнь простой: лишенной противоречий и предсказуемой.

Правда, и Лев Толстой предлагал

видеть в идеале нечто вроде компаса, который следует хранить, если даже ветер и волны не позволяют двигаться в нужном направлении. Только Толстой был убежден, что его идеал достижим или, по крайней мере, непротиворечив, а Новгородцев очень убедительно показывает, что свобода рождает тысячи сталкивающихся друг с другом требований - тогда какого же из этих компасов должна слу-



П. Брейгель. “Вавилонская башня”. Ок. 1563 г.

шаться личность? Потом, “продукты” жизни, ее мысли и дела, Новгородцев ставит выше ее самой, - но ведь высшие из этих дел и мыслей рождены отнюдь не одним лишь “добром”, если под ним понимать бесконечную снисходительность ко всем человеческим нуждам и слабостям. В довершение всего, развитие и совершенствование чего угодно требует состязательности, которая как будто бы препятствует всеобщему объединению...

Автор этих строк так долго не видел выхода из перечисленных противоречий, что уже начал чувствовать опасение, не сочинил ли великий сокрушитель всех и всяческих утопий еще одну утопическую конструкцию, - разве что не требующую воплощения, а оттого не столь опасную. И лишь в последнее время что-то в этом отношении изменилось.

Новгородцев отвергал знаменитую дилемму - создаются ли хорошие

люди хорошими учреждениями или наоборот: он считал, что и учреждения, и люди могут расти только вместе, опираясь друг на друга. Но Новгородцев выделяет еще одну самостоятельную сферу - совершенствование людей, независимо от учреждений: “душевная жизнь личности шире политики”. Так, может быть, именно внутренний мир в состоянии сделать не столь жестокими противоречия мира внешнего?

Борьба при стремлении сохранить целое и стремление к победе любой ценой - может быть, именно в этом расходятся во взглядах на конкуренцию либерализм и фашизм. Ощущать социальное целое, которому мы принадлежим, хрупким и драгоценным организмом, ампутация любой части которого приводит к деформации и деградации прочих частей, - не знаю, может ли это ощущение выполнить высокие функции, возлагаемые П. И. Новгородцевым на общественный идеал. Но что оно являет собой очень полезную антифашистскую прививку - в этом я не сомневаюсь.



Слова, слова, слова...

ерлин И. С. Тургенева

Доучиваться в Берлин!

15 мая 1838 года в полдень Иван Тургенев, 19-летний юноша, наружность которого находили не только красивой, но еще и выдающейся и многообещающей, отстояв напутственный молебен в Казанском соборе, что на Невском проспекте, быстрым шагом направился к пароходству на Морской, где стоял у пристани корабль "Ижора". На нем Тургенев должен был отплыть к большому линейному кораблю "Николай I", уже ожидавшему пассажиров в Кронштадте, с тем, чтобы пойти к берегам Германии.

Тургенев отправлялся в Берлин для обучения в тамошнем университете или, как он сам выразился, "доучиваться в Берлин", поскольку после года обучения в Московском университете и трех лет в Петербургском степень кандидата у него уже была. Будущий известный писатель еще долгие годы будет полагать, что ему предстоит именно научная карьера. Он оказался на редкость настойчивым по части учебы и теперь готовился стать магистром философии. К тому же, и это понятно, "заранее" обучение было еще и соблазном, ни с чем не сравнимым для молодого пытливого ума. "Стремление молодых людей за границу, - вспоминал Тургенев, - напоминало искание славянами начальников у заморских варягов".

Дело оставалось за небольшим: следовало уговорить мать - Варвару Петровну субсидировать обучение будущего магистра, желавшего именно из "Германии туманной" привезти в Россию "учености плоды".

Что же касается Варвары Петровны, то она вполне соответствовала образу жестокой крепостницы из советского школьного учебника. Вульгарный социологизм в данном случае вполне адекватно отразил историческую правду: Варвара Петровна и в самом деле была прообразом жестокой барыни в рассказе Тургенева "Муму". Впоследствии, когда Тургенев пытался вступить за крепостных, она лишила его дохода и обрекла на настоящую нищету, хотя в буду-

щем его ожидало огромное наследство. В то же время, Варвара Петровна была талантливой натурой, женщиной умной и остроумной, в чем мы убедимся по ее письмам, и, кроме того, она очень ценила образование и ученость.

Всякие разумные доводы в пользу образования она выслушивала с огромным интересом. Довод же о том, что само министерство просвещения посылает на свой счет в немецкие университеты юношей, подающих надежды, сразил ее, и она согласилась отпустить сына, сказав: "Свет требует светскости!" И ведь с этим не поспоришь. Как водится, она предостерегла сына от соблазнов Запада: карт, рулетки, дам, знакомства с актрисами. "При первом же долге твоём публикую в газетах, что я долги за тебя платить не стану, что именно у вас не отцово", - заявила она.

Жестокость, как известно, нередко сочетается с непомерной чувствительностью и экзальтированной сентиментальностью. Варвара Петровна потом писала сыну о своих переживаниях во время расставания на пристани. О себе в 3-м лице: "Дымится уже (пароходная труба, - ред.), зазвонил третий звонок - и мать вскрикнула, упала на колени в карете перед окошком... Пароход повернул и полетел как птица!"

"Пожар на море" и пожар литературный

Впоследствии, вспоминая свои немецкие томления и мечтания, Тургенев записал: "Я бросился вниз головой в "немецкое" море, долженствующее очистить и возродить меня и, когда я, наконец, вынырнул из его волн..."

Эта красивая фраза, записанная автором для того, чтобы сообщить о своем духовном возрождении, при всей образности подразумевает реальное море и реальные волны, из которых нужно было себя в том злополучном путешествии в Германию на пароходе "Николай I" физически спасти.

Путешествие окончилось трагически -

„Worte, Worte, Worte ...“

von Mina Polianski und
Matthias Schwartz

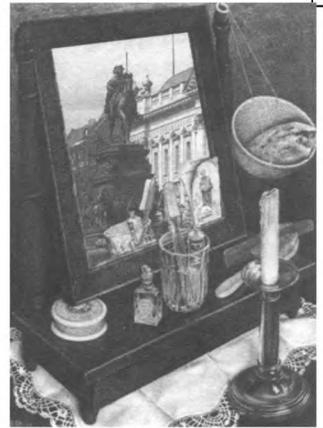
Zu Ende lernen in Berlin!

Am 15. Mai des Jahres 1838 zur Mittagzeit eilte sich Iwan Turgenew, ein 19-jähriger Jüngling, dessen Äußeres man nicht nur schön, sondern auch noch hervorragend und vielversprechend fand, nachdem er seine Abschiedsandacht in der Kasanski-Kirche am Newski-Prospekt in St. Petersburg beendet hatte, mit schnellen Schritten zur Reederei am Hafen Morskoj, wo am Anleger das Schiff „Ishora“ stand. Auf ihm sollte Turgenew zum großen Linienschiff „Nikolaj I.“ gebracht werden, das in Kronstadt schon auf die Passagiere wartete, um dann zu den Ufern Deutschlands aufzubrechen.

Turgenew machte sich auf den Weg nach Berlin, um an der dortigen Universität zu studieren, oder, wie er sich selber ausdrückte, „in Berlin zu Ende zu lernen“, insoweit er nach einem Jahr Studium an der Moskauer und drei Jahren an der Petersburger Universität den Kandidatengrad schon erhalten hatte. „Das streben junger Leute ins Ausland“, erinnerte sich Turgenew, „erinnerte an die Suche der Slawen nach Führern bei den überseeischen Warägern.“

Es blieb nur noch eine kleine Sache zu klären: die Mutter mußte überredet werden - Warwara Petrowna sollte den zukünftigen Magister finanziell unterstützen, der aus dem „nebelhaften Deutschland“ die „Früchte der Gelehrtheit“ nach Rußland bringen wollte.

Was Warwara Petrowna anbelangt, so entsprach sie vollkommen dem Bild der grausamen Gutsbesitzerin aus der Zeit der Leibeigenschaft in den sowjetischen Schulbüchern. Doch gleichzeitig war sie von Natur aus talentiert, eine kluge und scharfsinnige Frau, wovon wir uns anhand ihrer Briefe überzeugen können, und außerdem liebte



сидящая на берегу Германии пароход стогрел. Хотя, за исключением нескольких человек, пассажиры на двух шлюпках были спасены, на Тургенева такой приезд в Германию наложил неизгладимую печать вплоть до самой смерти.

Пожар на пароходе "Николай I" явился не только одной из крупнейших катастроф в истории пассажирского судоходства прошлого века, но и вошел в историю русской литературы. Среди двухсот пятидесяти пассажиров, кроме Тургенева на пароходе находилась первая жена Ф. И. Тютчева Элеонора Федоровна со своими тремя маленькими дочерьми Анной, Дарьей и Катей. Тютчев с ужасом писал впоследствии о том, как она их сумела "пронести сквозь бушующее пламя и вырвать их у смерти". Существует предположение, что одной из причин ее преждевременной смерти (она умерла осенью этого же года) было нервное потрясение, перенесенное ею во время пожара. Тютчев в одну ночь посидел у гроба жены и впоследствии казался старше своих лет, а спустя десять лет, в 1948 году, посвятил Элеоноре Федоровне знаменитые стихи: "Еще томлюсь тоской желаний, Еще стремлюсь к тебе душой - И в сумраке воспоминаний Еще ловлю я образ твой..." Так следствием морского пожара стал поэтический шедевр.

"Der Brand auf dem Meer" und der literarische Brand

На потерпевшем бедствие "Николае I" находился и известный русский поэт Петр Андреевич Вяземский, которому Пушкин посвятил такие строки: "Судьба свои дары явить желала в нем, В счастливом баловне соединив ошибкой Богатство, знатный род с возвышенным умом И простодушие с язвительной улыбкой".

И надо же было девятнадцатилетнему перепуганному бедствием Тургеневу оказаться замеченным этим "счастливым баловнем" с "язвительной улыбкой". Вяземский впоследствии в Петербурге и Москве "простоудушно" рассказывал знакомым о недостойном поведении юноши во время эвакуации с тонущего корабля, к тому же еще и кричавшего: "Я единственный сын у своей матери!" С легкой руки князя Вяземского распространилась и такая фраза, которую, якобы, Тургенев повторял: "Умереть таким молодым, не успев ничего создать!"

Слухи дошли до Варвары Петровны, которая в письме к сыну писала: "Почему могли заметить на пароходе одни твои ламентации... Что ты gros monsieur не твоя вина, но! - что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить... Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то радикальное".

Вот уж, действительно, "пятно радикальное" - попробуй его смой. И через

тридцать лет смыть не удалось! Федор Достоевский использовал эти "ламентации" Тургенева в романе "Бесы" (еще один литературный отсвет знаменитого пожара). Модный писатель Кармазинов, прототипом которого был Тургенев, пишет с единственной целью выставить самого себя, как, например, в описании гибели одного парохода где-то у берегов Англии: "Так и читалось между строками: "Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Чего вы смотрите на утопленницу с мертвым ребенком. Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся". Интересно, что Достоевский пародировал авторскую позицию Тургенева в очерке "Казнь Тропмана" и... рассказ, который Тургенев тогда еще не написал!

В 1883 году, находясь на смертном одре (у Тургенева была саркома позвоночника), когда писатель не мог уже двигать рукой, чтобы как-то оправдать себя за якобы проявленное малодушие в годы далекой молодости, он продиктовал П. Виардо рассказ "Пожар на море", где описал себя и окружающих во время пожара. Тургенев диктовал Полине Виардо: "В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа Т..., очень хорошая и милая (Элеонора Федоровна Тютчева, - ред.), но связанная своими... дочками и их нянюшками, поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной парой лошадей, за которой я сбегал на верх утесов и которого послал вперед, не нашел нужным дожидаться меня и уехал в Любек с моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю "догорал", потому что я никогда бы не поверил, что такая "махиница" может быть так скоро уничтожена... И только? подумал я; и вся наша жизнь разве только шепотка золы, которая разносится по ветру?"

Надо отметить, что в "Пожаре на море", ставшем предсмертной исповедью Тургенева, нет и напоминания о "единственном сыне у матери" или каком-либо малодушии, проявленном героем рассказа.

Отцы и бесы

Здание Берлинского университета на Унтер ден Линден внешне почти не изменилось со времен Тургенева. Построенное в 1748 - 66 гг. архитектором Йоханном Буманном для принца Генриха (брат Фридриха II), оно после смерти принца было передано первому Берлинскому университету, основателем которого был Вильгельм фон Гумбольдт.

В 30-х - 40-х годах прошлого века университет переживал пору своего расцвета. Именно университет, "царство мысли", по выражению Гегеля, составлял тогда немецкую славу, придавал Берлину значение одного из центров Европы, несмотря на общий провинциальный стиль городской жизни.

В Берлинском университете преподавали тогда ученые, которые пользовались известностью в научном мире: Риттер, Ранке, Савиньи, Вердер, Ганс.

160 лет назад молодой Тургенев с благоговением поднялся по ступеням бывшего дворца принца Генриха. Он достиг желанной цели: наконец-то он встретится с легендарными учеными мужами, "обольстителями души".

Тургеневу, как это положено было тогда, выдали "студентский диплом". Затем он получил ту самую знаменитую карточку, по представлению которой немецкий студент не мог быть арестован полицией. Времена "фантастических" одежд немецких студентов уходили уже к тому времени в прошлое. Как свидетельствовал студент Берлинского университета Станкевич, "старинное фантастическое студенчество едва осталось еще внутри Германии, в небольших городах. Немецкие студенты сознали, что волосы, бороды, древние одежды делают их смешными, обрили, выстриглись, умылись, пошили себе фраки и сюртуки и сделались во всем похожими на филистимлян. "Philister", так называли они в старину прочих граждан, их вечных врагов".

В романе "Рудин" главный герой, учившийся в двух немецких университетах, говорит: "В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и волосы отрастил до самых плеч. В Берлине студенты одеваются, как все люди". Тургенева, стало быть, мы находим в аудиториях Берлинского университета в "партикулярном" платье. Кроме студентов сюда приходили в качестве вольнослушателей также офицеры и чиновники. Иногда можно было здесь встретить женщин, что в те времена для России было невозможным.

Вердер, читавший логику, метафизику и историю философии, был любимцем студентов. К русским слушателям он относился с особой симпатией, как, впрочем, и многие другие про-

фессора; ненасытная жажда знаний удивляла их.

В Москве Тургеневу не удалось вступить в знаменитый философский круг Станкевича, этого первого распространителя гегельянства в России, как отмечал впоследствии Герцен в "Былом и думах". В Берлине же, правда, с некоторым опозданием, Тургенев сумел, наконец, войти в его круг. Станкевич, впрочем, поначалу откровенно не жаловал его, а общался в основном с Грановским и Неверовым (они даже поселились в одной квартире). Для Тургенева же общение с этими молодыми людьми и в особенности со Станкевичем было важным событием в жизни.

Тургеневские материалы студенческого берлинского периода показывают, что среди этой блестящей молодежи Тургеневу нашлось место далеко не в первых рядах. Не исключено, что здесь имела место и его собственная недооценка. Так, например, он часто посещал салон у Фроловых, где бывала и русская молодежь, где часто появлялись натуралист Александр фон Гумбольдт, писательница Беттина фон Арним, критик Варнхаген фон Энзе, Вердер и др. "Я ходил туда, - вспоминал Тургенев, - молчать, разиня рот, и слушать".

В подробных письмах Станкевича родителям имя Тургенева почти не упоминается. Впоследствии склонный к самоанализу Тургенев скажет, что в ту пору он не был в состоянии достичь таких безукоризненных, чистых, прямых и цельных натур, каковыми были Станкевич, Неверов, Бакунин. Однако время рассудило иначе. Сегодня, спустя полтора века, можно с некоторой приблизительностью сказать: да была группа молодых русских студентов, которые составили кружок русской идеалистической философии, уходящий корнями в немецкую философию и сильно окрашенный гегельянством. Что же касается этого "нувеллиста", как назвал Тургенева Достоевский в романе "Бесы", то он остался в истории и как "знаменитость", и как классик, и как гордость русской литературы.

Впрочем, не будем и преуменьшать роль русских студентов, занимавшихся в немецких университетах. Именно они, по идее романа Достоевского "Бесы", были отцами российских бесов или "наших". И да не преуменьшим их роль и в творчестве восприимчивого Тургенева, у которого уже и Рудин весь окутан "Германией туманной". "Рудин начинает ей читать гетевского Фауста, Гофмана или письма Беттины... Рудин весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир".

Тон тургеневского очерка "Письма из

(sie starb im Herbst desselben Jahres) ein Nervenzusammenbruch war, den sie während des Brandes erlitt. Tjutschew ergraute am Sarg seiner Frau in einer Nacht und sah infolgedessen älter aus als er war, und zehn Jahre später, 1848, widmete er Eleonora Fjodorowna die berühmten Zeilen: „Ich quäl mich noch am Schmerz der Wünsche“. So war eine Folge des Brandes auf dem Meer ein poetisches Meisterwerk.

Das Unglück des Schiffbruchs von „Nikolaj I.“ erlebte auch der bekannte russische Dichter Pjotr Andrejewitsch Wjasemski mit, dem Puschkin folgende Zeilen widmete: „Das Schicksal wollte seine Gaben an ihm beweisen, Es verband in dem Glückspilz Reichtum mit Irrtum, ein bekanntes Geschlecht mit erhöhtem Geist Und Treuherzigkeit mit einem giftigen Lächeln“.

Und so mußte dieser „Glückspilz“ mit einem „giftigen Lächeln“ auch über den neunzehnjährigen, durch das Unglück in Schrecken versetzten Turgenew Bemerkung zu machen. Wjasemski erzählte später in Petersburg und Moskau „treuherzig“ seinen Bekannten von dem unwürdigen Verhalten des Jünglings während der Evakuierung vom sinkenden Schiff, der zudem auch noch geschrien haben soll: „Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter!“

Die Gerüchte erreichten auch Warwara Petrowna, die in einem Brief an ihren Sohn schrieb: „Warum hat man auf dem Dampfschiff einzig Deine Lamentos bemerkt... Was heißt hier gros monsire das sei nicht Deine Schuld, doch! - was warst Du feige, daß andere es in der damaligen Angst bemerken konnten... Das hat einen Flecken auf Dir hinterlassen, wenn nicht einen unehrenhaften, so doch einen radikalen“.

Und wirklich, was für ein „radikaler Fleck“ - probier ihn mal abzuwaschen. Auch in dreißig Jahren gelang es nicht, ihn abzuwaschen! Dostojewski benutzte diese Lamentos Turgenews in seinem Roman „Die Dämonen“ (noch ein literarischer Widerschein des berühmten Brandes auf der Ostsee). Der Prototyp Turgenews, der junge Schriftsteller Karmasinow, schreibt mit dem einzigen Ziel, sich selbst herauszustellen, wie zum Beispiel bei der Beschreibung des Untergangs eines Dampfschiffs irgendwo vor der Küste Englands: „So konnte man auch zwischen den Zeilen lesen: „Interessiert euch für mich, schaut, wie ich mich in diesen Minuten verhielt. Was schaut ihr auf die Ertrunkene mit dem toten Kind. Schaut auf mich, wie ich diesen Anblick nicht aushielt und mich abwendete“. Interessant ist, daß Dostojewski in dem Aufsatz „Die Hinrichtung Tropmans“ die Autorenposition Turgenews parodierte und... eine Erzählung,

die Turgenew zu dem Zeitpunkt noch nicht geschrieben hatte!

Im Jahre 1883, als er sich auf dem Totenbett befand (Turgenew hatte ein Wirbelsäulensarkom), als der Schriftsteller schon nicht mehr seine Hand bewegen konnte, um sich irgendwie für angeblich in der fernen Jugend an den Tag gelegten Kleinmut zu rechtfertigen, diktierte er Polina Viardo die Erzählung „Der Brand auf dem Meer“, in der er sich und die ihn Umgebenden während des Brandes beschrieb.

Hinzufügen ist, daß im „Brand auf dem Meer“, der zur letzten Beichte Turgenews vor dem Tode wurde, nicht ein Wort über den „einzigsten Sohn meiner Mutter“ oder

Berlina“ почти рудинский: “Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночные серенады под его окнами, его речей, студенческих слез и криков? Помните?... В 40-м году с волнением ожидали Шеллинга, шикали с ожесточением на первой лекции Штала, воодушевлялись при одном имени Вердера, воспламенялись от Беттины, с благоговением слушали Стеффенса. Что я говорю? Даже та юная, новая школа, которая так смело, с такой уверенностью в свою несокрушимость подняла тогда свое знамя, даже та школа успела исчезнуть из памяти людей!”

Фразы Тургенева о прогрессе и добре зачастую удивительно похожи на речи его

нес последнее слово...” и т. д.), то получил из толпы “бесов”, то есть нового поколения, грубоватый в духе 60-х годов ответ-окрик: “Каламбуры 40-х годов!”

Интересно, что образ старичка-каламбуриста вошел в традицию русской литературы. Сей “интеллигентский” ряд продолжился в романе Ф. Горенштейна “Место” (написанном в 1972 году), в образе журналиста шестидесятых годов уже нашего века. Журналист, благополучный человек, известный литератор, полулиберал, неотразимый и обаятельный, так же, как сто лет назад его литературный предшественник Степан Трофимович, стоит беспомощный на сцене перед аудиторией молодых людей и

N a m e	In- länder.	Aus- länder.	No. Albi.	Recto- rat.	B e m e r k u n g e n.
<i>von Turgenew, Johann L. von Altona d. 24/10. 38. von Petersburg.</i>	—	A.	7.	29.	<i>in Aug. d. Aug. ca 1878. 29.</i>
<i>Leitner, Franz Hain L. von Altona d. 3/11. 38 von Odessa.</i>	—	A.	254.	29.	<i>in Sept. d. Aug. ca 1875. 29. Abgang d. Aug. ca 1875. 29. Abgang d. Aug. ca 1875. 29.</i>
<i>von Tieschew, Adolph von Altona d. 26/4. 39.</i>	J.	—	367.	29.	<i>in Aug. d. Aug. ca 26/4. 29.</i>

Выписка из университетского регистра

irgendwelchen Kleinmut, die der Held der Erzählung an den Tag gelebt habe, fällt.

Väter und Dämonen

In den dreißiger und vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebte die Berliner Universität ihre Blütezeit. Gerade die Universität, das „Kaiserreich der Gedanken“, nach einem Ausspruch Hegels, begründete damals den deutschen Ruhm, verschaffte Berlin die Bedeutung, eines der Zentren Europas zu sein, ungeachtet des allgemein provinziellen Stils des Stadtlebens.

Vor 160 Jahren stieg der junge Turgenew mit Andacht die Stufen des ehemaligen Palais' des Prinzen Heinrich von Preußen hinauf. Er hatte das gewünschte Ziel erreicht: endlich wird er mit den legendären gelehrten Männern zusammentreffen, den „Verführern der Seele“.

Turgenew erhielt, wie es sich damals gehörte, eine „Studentenkarte“. Damit erhielt er auch eben jenes berühmte Kärtchen, aufgrund dessen, wenn man es vorwies, ein deutscher Student nicht von der Polizei verhaftet werden konnte. Die Zeiten der „phantastischen“ Kleidung der deutschen

sобственного героя Рудина, русского интеллигента-идеалиста, воспитанного в немецких университетах, о чьих речах Тургенев писал: “Он говорил мастерски, увлекательно и не совсем ясно... но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам... Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди”.

“Характер этого поборника прогресса, - отмечал Набоков, - и типичного идеалиста 40-х г. укладывается в известный гамлетовский ответ: “слова, слова, слова”. Это с него, с Рудина, и началась в русской литературе блистательная плеяда интеллигентов-либералов, умевших красиво говорить, например, о социальном прогрессе или же о переустройстве общества. Сей образ “русского человека на randevu” достиг своего апогея, на наш взгляд, в образе Степана Трофимовича в романе “Бесы”, интеллигента образца 40-х годов. Кстати, когда Степан Трофимович в одной из сцен романа обратился (на знаменитом сборище-собрании) к толпе с изысканной речью (“Я пришел к вам с оливковой ветвью. Я при-

пытается прогнозировать будущее неясной замысловатой речью. На вопрос из толпы, к чему все-таки призывает журналист, он ответил:

- К безвременью... Россия нуждается, по крайней мере, в двух-трех веках безвременья. Все силы страны должны быть сосредоточены на внутреннем созревании. Пусть на этот период восторжествует тихий, мирный, влачащий свою лямку обыватель. Этого не следует пугаться. Это будет лишь фасад. За фасадом будут происходить интереснейшие процессы.

- Какие процессы? - уж совсем неуважительно выкрикнули из публики. - Вы говорите загадками”.

Впрочем, мы отвлеклись, увлеклись речами этих и в самом деле талантливых натур. Вернемся в Берлин 1838 года. Опасаясь давления Варвары Петровны даже на расстоянии, Тургенев ей из Германии почти не писал, о чем свидетельствуют ее, полные угроз и возмущения, письма. Вот лишь одно из них: “Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, но ты должен сказать Порфирию: “Я нынче почту не пишу к мамаше”.

Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно: - Иван Сергеевич, де, здоров, - и более мне не нужно, и буду покойна до трех почт... Но! - ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку; жаль мне этого... что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости”.

Поскольку молодой Тургенев писал в Россию крайне нерегулярно, первоначальный Карикатура на роман “Отцы и дети”



берлинский адрес писателя по его переписке установить было невозможно. Потому авторы этого скромного исследования отправились в архив Берлинского университета Фридриха Вильгельма, ныне университета им. Гумбольдта. Представляем вниманию читателя обнаруженный документ: выписку из университетского регистра, в который русский классик был записан как Johan von Turgenew, Ausländer. Из архивных документов следует, что Йохан фон Тургенев поселился по адресу, нигде нами до сих пор в литературоведческих исследованиях не обнаруженному. Итак, оказалось, что первоначально Тургенев поселился со своим слугой Порфирием (который, кстати, слушал лекции по медицине в том же университете) по адресу Шарлоттенштрассе 27.

Второй адрес - Миттельштрассе 60 - известен. Там писатель поселился со ставшим впоследствии знаменитым народовольцем Бакуниным. В квартиру на Миттельштрассе приходил Бернгард Икскуль - товарищ Тургенева по университету. Его воспоминания о Тургеневе - одно из немногих свидетельств о берлинском периоде тургеневской биографии: “Не менее двух раз в неделю сходились по вечерам то у меня, то у обоих друзей (Тургенева и Бакунина, - ред.), живших на одной квартире, для занятия философией и для бесед. Хороший русский чай, в то время редкий в Берлине, и хлеб с холодной говядиной служили материальной придачей к этим вечерам; вина мы никогда не пили, и несмотря на это, просиживали иной раз до раннего утра”.

Интересно, что Тургенев в свой берлинский период до такой степени увлекся наукой, что, когда вернулся в Россию, его на первых порах соотечественники воспринима-

ли не как писателя, а именно как молодого ученого. Интересное воспоминание оставил по этому поводу А. Фет: “В комнату вошел высокого роста молодой человек, темно-русый, в модной тогда “листовской” причёске и в черном, доверху застегнутом сюртуке... Молодой человек о чем-то просил профессора... По его же уходе Степан Петрович (Шевырев, - ред.) сказал: “Какой странный этот Тургенев; на днях он явился со своей поэмой “Параша”, а сегодня хлопочет о получении кафедры при Московском университете”.

За год до смерти, тяжело больной Тургенев написал своему немецкому другу письмо, полное ностальгии и, конечно же, в духе “каламбуров 40-х годов”: “Увы, любезный барон! Куда девалось наше беспечальное, студенческое житье в Берлине. Куда кануло все светлое прошлое?” Тургенев любил свою студенческую молодость и с тоской вспоминал о Берлине, как,

кстати говоря, и многие другие русские писатели. Для большинства российских литераторов Берлин оставался, однако, транзитным городом. Для Тургенева он стал транзитным в особом смысле. Так случилось, что многие годы спустя через Берлин провезли гроб с телом писателя.

Последний путь, длившийся 37 дней.

В романе “Бесы” Кармазинов (прототипом которого был Тургенев, - ред.) красиво говорит о своей предстоящей смерти: “Там, в Карлсруэ, я закрою глаза свои. Нам, великим людям, остаётся, сделав свое дело, поскорее закрывать свои глаза, не ища награды. Сделаю так и я”.

- Дайте адрес, и я приеду к вам в Карлсруэ на вашу могилу, - безмерно расхохотался немец.

- Теперь мертвых по железным дорогам пересылают, - неожиданно проговорил кто-то из незначительных молодых людей.”

Эти строки были написаны Достоевским в 1873 году. Спустя десять лет его пророчеству суждено было сбыться. Десять дней везли тело Ивана Тургенева по железным дорогам через Германию в Россию из Франции, где он прожил почти всю свою жизнь.

Примерно с января 1882 г. началась роковая болезнь писателя. С июля 1882 года Тургенев не в силах был больше писать и без морфия не мог даже прикрыть глаз. Он находился под Парижем в Буживале, где летом жила Полина Виардо, которой он посвятил свою жизнь, начиная с двадцатипятилетнего возраста. Непосред-

Studenten gehörten schon damals mehr und mehr der Vergangenheit an. Wie der Student der Berliner Universität Nikolaj Stankewitsch bezeugte, „gab es die altertümliche phantastische Studentenschaft kaum noch innerhalb Deutschlands, nur noch in den kleinen Städten. Die deutschen Studenten erkannten, daß lange Haare, Bärte, alte Kleider sie lächerlich machen, sie rasierten sich, schnitten sie sich ab, wuschen sich, nähten sich Fracks und Gehröcke und wurden in allem einem Philister ähnlich. „Philister“, so nannten sie Anno dazumal die übrigen Bürger, ihre ewigen Feinde“.

In dem Roman „Rudin“ sagt sein Hauptheld, der an zwei deutschen Universitäten studiert hat: „In Heidelberg trug ich große Stiefel mit Sporen und ließ die Haare bis zu den Schultern wachsen. In Berlin kleiden sich die Studenten wie alle andern Leute“. Turgenew finden wir folglich in den Hörsälen der Berliner Universität in Zivil wieder. Außer den Studenten kamen als gelegentliche Gasthörer auch Offiziere und Beamten hierher. Manchmal konnte man auch Frauen antreffen, was zu dieser Zeit in Rußland noch unmöglich war.

Werder, der Vorlesungen über Logik, Metaphysik und Geschichte der Philosophie hielt, war der Liebling der Studenten. Den russischen Zuhörern brachte er besondere Sympathie entgegen, wie im übrigen auch viele andere Professoren: der unersättliche Wissensdurst verwunderte sie.

In Moskau war es Turgenew nicht gelungen, in den berühmten philosophischen Kreis Stankewitschs vorzudringen, diesen ersten Kreis, der den Hegelianismus in Rußland verbreitete, wie Alexander Herzen in seiner Autobiographie „Gewesenes und Gedachtes“ anmerkt. In Berlin jedoch, wenn auch mit einiger Verspätung, konnte Turgenew endlich in seinen Kreis eintreten. Stankewitsch zeigte übrigens anfangs offen, daß er ihn nicht mochte.

Die Materialien über Turgenews Studienzeit in Berlin zeigen, daß Turgenew unter dieser glanzvollen Jugend bei weitem nicht in der ersten Reihe stand. Es ist nicht auszuschließen, daß hierin auch seine eigene Selbstunterschätzung begründet liegt. So besuchte er zum Beispiel häufig den Salon der Frowlows, in dem auch die russische Jugend sich traf, wo oft der Naturalist Alexander von Humboldt, die Schriftstellerin Bettina von Arnim, der Kritiker Varnhagen von Ense, Werder und andere anwesend waren. „Ich ging dorthin“, erinnerte sich Turgenew, „um zu schweigen, mit offenem Mund, und zuzuhören“.

Später wird der zur Selbstanalyse neigende Turgenew sagen, daß er nicht in der Lage gewesen sei, sich einen so tadellosen,

реинен, aufrechten und einheitlichen Charakter zuzulegen, wie Stankewitsch, Alexander Newerow und Michail Bakunin einen hatten. Die Zeit fällt jedoch ein anderes Urteil. Der „Nouvelliste“, wie ihn Dostojewski in dem Roman „Die Dämonen“ nannte, ging in die Geschichte als „Berühmtheit“ ein, als Klassiker und als Stolz der russischen Literatur.

Im übrigen wollen wir nicht die Rolle unterschätzen, die die russischen Studenten von der Berliner Universität gespielt haben. Gerade sie sind nach der Idee von Dostojewskis „Dämonen“ die Väter der russischen Dämonen oder der „unrigen“. Und auch ihre Rolle im Werk des aufnahmefähigen Turgenews ist nicht zu unterschätzen, bei dem schon Rudin ganz vom „nebelhaften Deutschland“ umwoben war. „Rudin beginnt ihr Goethes Faust, Hoffmann oder die Briefe Bettinas vorzulesen... Rudin ist ganz in die deutsche Poesie, in die deutsche romantische und philosophische Welt versunken“.

Die Sätze Turgenews über den Fortschritt und das Gute sind teilweise den Reden seines eigenen Romanhelden Rudin erstaunlich ähnlich, eines russischen Intellektuellen und Idealisten, erzogen an deutschen Universitäten, über dessen Reden er schreibt: „Er sprach meisterhaft, hinreißend und nicht ganz klar... doch eben diese Unklarheit gab seinen Reden einen besonderen Reiz... Ein anderer Zuhörer hatte wohl nicht genau verstanden, worum es ging; doch seine Brust wölbte sich stark, irgendetwelche Schleier öffneten sich vor seinen Augen, vor ihm entflammte irgend etwas Leuchtendes“.

„Der Charakter dieses Verfechters des Fortschritts“, bemerkte Wladimir Nabokow, „und typischen Idealisten der 40er Jahre paßt zu der bekannten Antwort Hamlets: „Worte, Worte, Worte“. Mit ihm, mit Rudin begann in der russischen Literatur die glänzende Plejade der Intellektuellen und Idealisten, die schön reden konnten, zum Beispiel über den sozialen Fortschritt und den Umbau der Gesellschaft. Dieses Bild vom „russischen Menschen beim Rendezvous“ erreichte seinen Höhepunkt unserer Ansicht nach in der Gestalt des Stepan Trofimowitsch im Roman „Die Dämonen“, eines Intellektuellen nach dem Vorbild der 40er Jahre. Nebenbei gesagt, als Stepan Trofimowitsch in einer der Romanszenen sich (vor dem berühmten Menschengauf) mit gewählter Rede („ich kam zu euch mit einem Olivenzweig. Ich brachte euch das letzte Wort...“ usw.) an die Menge wandte, da erhielt er aus der Menge der „Dämonen“, das heißt der neuen Generation, den etwas groben Zuruf im Geist der 60er Jahre zur Antwort: „Das sind Wortspiele der 40er Jahre!“

Interessant ist, daß die Gestalt des

stvenno под комнатой, где умирал Тургенев, располагалась музыкальная школа Виардо, и в Россию к друзьям доходили слухи о постоянном „грохоте музыки“, о равнодушии членов семьи Виардо к его страданиям.

Альфонс Доде, навещавший Тургенева, свидетельствовал, что всегда находил одну и ту же картину: внизу, в роскошном зале, неумолимо гремели музыка и пение, а вверху, в крохотном полутемном кабинете лежал, сжавшись в комок, исхудавший старик. Осенью Виардо уехала в Париж, и он с удовольствием остался один и написал друзьям, что „одиночество ему по вкусу“.

За несколько дней до смерти Тургенев написал завещание, где просил похоронить его в Петербурге на Волковом кладбище, „подле моего друга Белинского; конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего „учителя“ Пушкина; но я не заслуживаю такой чести“. Он умер 22-го августа 1883 г. в два часа пополудни. Тело Тургенева было выдано Полиной Виардо для отправки в Петербург лишь 19-го сентября, то есть через двадцать восемь дней!

Секретарь Тургенева А. Ф. Онегин, человек по-своему легендарный (из любви к Пушкину он взял себе фамилию Онегин, и, по сути дела, его пушкинская коллекция и явилась основой собраний в Пушкинском доме, последней квартире поэта и других пушкинских музеях), с возмущением писал о том, как Виардо после смерти Тургенева перестала пускать его в дом, и о ее непреклонном желании получить как можно больше выгоды от этой смерти.

Итак, через 28 дней после смерти Тургенева на Северном вокзале в Париже состоялись торжественные проводы его тела. Однако тело писателя в пути почему-то никто не сопровождал, и в дороге с ним начались необъяснимые приключения, продолжавшиеся еще десять дней. „По причинам, понять которые трудно, в Берлине не уведомили заранее о времени прибытия поезда с гробом Тургенева“, - сообщали русские газеты. Немецкие газеты также удивлялись („Berliner Börsen-Kurier“ от 10 сентября): „...служащие на железной дороге сами не знали ничего определенного... Маленькая толпа людей, желавших возложить венки на гроб, переходила от одного вокзала к другому вокзалу, из одного конца города в другой“.

На следующий день берлинские газеты опять удивились: „В то время, как все ду-

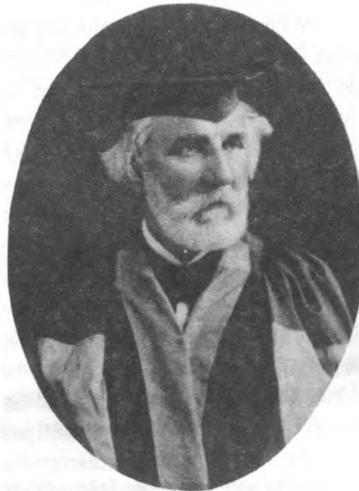
мали, что тело Тургенева прибудет по Потсдамской дороге, в то время, как представители литературных кружков изо дня в день бегали без устали со станции на станцию, таща с собою венки, в то время, наконец, когда стала вообще исчезать надежда оказать в Берлине Тургеневу последние почести, бранные останки последнего привезены были на станцию Лертерской железной дороги, что никому не могло придти в голову“. Далее немецкие газеты сообщили еще более удивительные вещи: „... тело было перенесено в товарный склад при станции, а на следующее утро отправлено в товарном фургоне на вокзал Силезской железной дороги“. Затем, 23 сентября, в товарном вагоне оно прибыло к русской границе на станцию Вержболово.

М. М. Стасюлевич, приехавший в Вержболово, чтобы встретить тело Тургенева, общал потом в „Вестнике Европы“: „На следующий день рано утром, в 6 часов к самому окошку моего номера на станции, где я провел ночь, подошел тот самый прусский пассажирский поезд, с которым должно было прибыть тело Т., а через несколько минут ко мне вбежал служитель с известием, что тело Т-ва прибыло, одно, без проводящих и без документов, по багажной накладной, где написано „1 - покойник“ - ни имени, ни фамилии! Мы только догадались, что это - Тур-

генев, но, собственно, не могли знать того наверное. Тело прибыло в простом багажном вагоне, и гроб лежал на полу, заделанный в обыкновенном дорожном ящике для кладки; Пока мы выносили из вагона ящик с гробом... настоятель приготовил в церкви катафалк и паникадила... раздался протяжный звон - Vivos voco! Motuos plango! - Это был первый призыв и привет покойнику на родине - и невероятно

тяжело потрясли заунывные звуки колокола слух каждого из нас, кто понимал, что мы в эту минуту делали“.

Тело пробыло в Вержболово еще три дня. Лишь 27 сентября, то есть спустя 36 дней после смерти Тургенева, в 10 ч. 20 мин утра поезд с гробом писателя подошел к платформе Варшавского вокзала в Петербурге.



Wortspiele machenden alten Männleins in die Tradition der russischen Literatur einging. Diese „Intellektuellen“-Reihe wurde in Friedrich Gorensteins Roman „Der Ort“ (geschrieben 1972) in Gestalt des Journalisten der sechziger Jahre unseres Jahrhunderts fortgeführt.

Doch wir sind abgeschweift, haben uns an den Reden dieser in der Tat talentierten Charaktere erfreut. Kehren wir ins Berlin des Jahres 1838 zurück. Da er ihren Druck selbst aus der Ferne fürchtete, schrieb Turgenew Warwara Petrowna aus Deutschland fast gar nicht, was ihre Briefe bezeugen, die voller Drohungen und Empörung sind. Hier nur einer von ihnen: „Ich wiederhole meinen herrschaftlichen, despotischen Befehl. Du kannst es auch sein lassen zu schreiben. Du kannst auch einfach die Post nicht erledigen, doch dann sollst Du Porfiri sagen: „Heute schreibe ich Mamachen keine Post“. Dann nimmt Porfiri Papier und Feder. Und schreibt kurz und klar: - Iwan Sergejewitsch, sagt er, ist gesund, und mehr brauch ich nicht, und werde ruhig bis zu drei Post... Aber! - diese Post, wenn ihr sie beide nicht erledigt, dann werde ich umgehend den kleinen Nikolaj verprügeln; das tut mir leid... doch was tun, der arme Junge wird es ertragen müssen... Passen Sie auf, daß Sie mich nicht zu solchen Ungerechtigkeiten treiben“.

Da der junge Turgenew äußerst unregelmäßig nach Rußland schrieb, ließ sich die Berliner Adresse des Schriftstellers anhand seines Briefwechsels ursprünglich nicht feststellen. Daher haben die Autoren dieser bescheidenen Nachforschung sich ins Archiv der ehemaligen Friedrich-Wilhelm- und heutigen Humboldt-Universität zu Berlin begeben. Dort fanden wir folgendes Dokument, das wir der Aufmerksamkeit des Lesers präsentieren: Ein Auszug aus dem Verzeichnis der Philosophischen Fakultät, in das der russische Klassiker als Johann von Turgeneff, Rußland eingetragen war. Aus dem „Verzeichnis der Studierenden“ (Wintersemester 1838 - 1839) ist ersichtlich, unter welcher Adresse Johann von Turgeneff wohnte, eine Angabe, die wir bisher in keiner literaturwissenschaftlichen Untersuchung fanden. Es stellte sich heraus, daß Turgenew anfangs zusammen mit seinem Diener Porfiri (der übrigens Medizinvorlesungen an der gleichen Universität besuchte) unter der Adresse Charlottenstraße 27 wohnte.

Die zweite Adresse - Mittelstraße 60 - ist bekannt. Dort wohnte er mit Bakunin zusammen, der später ein berühmter Volkstümler werden sollte. Die Wohnung in der Mittelstraße besuchte auch Bernhard Ixkühl - ein Studienkollege Turgenews. Seine Erinnerungen an Turgenew sind eines der wenigen Zeugnisse über die Berliner Zeit in Turgenews Biographie: „Wir kamen mindestens zweimal die Woche abends zusammen, entweder bei mir oder den beiden Freunden (Turgenew und Bakunin, d. Verf.), die in einer Wohnung lebten, um uns mit Philosophie zu beschäftigen und zu unterhalten. Guter russischer Tee, zu dieser Zeit eine Seltenheit in Berlin, und Brot mit kaltem Rindfleisch dienten als materielle Beigabe zu diesen Abenden; Wein haben wir niemals getrunken, und trotzdem saßen wir manchmal bis zum frühen Morgen“.

Turgenew begeisterte sich während seiner Berliner Zeit so sehr für die Wissenschaft, daß er anfangs nach seiner Rückkehr nach Rußland von seinen Landsleuten nicht als Schriftsteller, sondern eben als junger Wissenschaftler wahrgenommen wurde. Interessante Erinnerungen in dieser Angelegenheit hinterließ Afanassi Fet: „Ins Zimmer kam ein junger Mann von hohem Wuchs, dunkelblond, in der damals modischen „Blatt“-Friseur und in einem schwarzen, bis obenhin zugeknöpften Gehrock... Der junge Mann bat den Professor um etwas... Nachdem er gegangen war, sagte Stepan Petrowitsch (Schewyrew, d. Verf.): „Was für ein seltsamer Mensch ist dieser Turgenew; neu- lich kam er noch mit seinem Poem „Die Latrine“, und heute bemüht er sich um einen Lehrstuhl an der Moskauer Universität“.

Ein Jahr vor seinem Tod schrieb der schwer kranke Turgenew einem deutschen Freund einen Brief, der voller Nostalgie und natürlich auch im Geist der „Wortspiele der 40er Jahre“ geschrieben ist: „O weh, lieber Freund! Wo ist unsere sorgenlose Studentenzeit in Berlin geblieben. Wohin ist unsere lichte Vergangenheit verschwunden?“ Turgenew liebte seine studentische Jugend und dachte mit Sehnsucht an Berlin, wie nebenbei gesagt auch viele andere russische Schriftsteller. Für die Mehrheit der russischen Literaten blieb Berlin jedoch eine Transitstadt. Für Turgenew wurde sie zu einem Transitpunkt in besonderem Sinne. Wie der Zufall es wollte, fuhr man viele Jahre später den Sarg mit dem Leichnam des Schriftstellers durch Berlin.

Ein Abschied, der 37 Tage andauerte

In dem Roman „Dämonen“ spricht Karmasinow (der Prototyp Turgenews, d. Verf.) in schönen Worten von seinem bevorstehenden Tod: „Dort, in Karlsruhe, schließe ich die Augen. Uns, den großen Menschen, die ihr Werk vollbracht haben, verbleibt nur, möglichst bald die Augen zu schließen, ohne Auszeichnungen zu suchen. So werde auch ich es machen“.

„Gebt mir Eure Adresse, und ich werde zu Ihrem Grab in Karlsruhe fahren“, brach ein Deutscher in maßloses Gelächter aus.

„Heute überführt man die Toten mit der Eisenbahn“, sagte unvermutet einer der unbedeutenden jungen Leute.“

Diese Zeilen schrieb Dostojewski 1873. Zehn Jahre später sollte sich seine Prophezeiung erfüllen. Zehn Tage lang überführte man den Körper Iwan Turgenews mit der Eisenbahn über Deutschland nach Rußland aus Frankreich, wo er fast sein ganzes Leben verbracht hatte.

Die sterbliche Hülle des Schriftstellers begleitete auf seinem Weg nach Rußland aus irgendeinem Grunde niemand, und so kam es während der Fahrt zu unerklärlichen Vorfällen, die zehn Tage andauerten. „Aus Gründen, die schwer zu verstehen sind, benachrichtigte man in Berlin niemanden im voraus über die Ankunftszeit des Zuges, in dem sich der Sarg Turgenews befand“, teilten die russischen Zeitungen mit. Auch die deutschen Zeitungen wunderten sich (Berliner Börsen-Currier vom 10. September): „Die

Angestellten der Eisenbahn wußten selber nichts Bestimmtes... Eine kleine Menschenmenge, die Kränze auf dem Sarg niederlegen wollte, lief von einem Bahnhof zum anderen, von einem Ende der Stadt bis zum anderen“.

Am nächsten Tag wunderten sich die Berliner Zeitungen erneut: „Zu der Zeit, als alle dachten, die sterbliche Hülle Turgenews würde auf der Potsdamer Eisenbahnlinie ankommen, zu der Zeit, als Repräsentanten der Literaturzirkel tagaus, tagein unermüdetlich von Bahnhof zu Bahnhof liefen, die Kränze mit sich schleppend, zu der Zeit, als zu guter Letzt allgemein die Hoffnung verloren ging, Turgenew in Berlin noch die letzte Ehre erweisen zu können, waren die sterblichen Überreste des letzteren zum Lehrter Bahnhof gebracht worden, worauf niemand kommen konnte“. Des weiteren teilten die deutschen Zeitungen noch verwunderlichere Dinge mit: „...die sterbliche Hülle wurde ins Warenlager der Bahnstation gebracht und am nächsten Morgen im Lastenwagen zum Schlesischen Bahnhof befördert“. Danach, am 23. September, ebenfalls im Güterwagen, erreichte er die russische Grenze an der Station Wershbolowo.

M. M. Stasjulewitsch, der nach Wershbolowo gekommen war, um dort den Leichnam Turgenews zu empfangen, schrieb später im „Westnik Ewropy“: „Am nächsten Tag, früh morgens, kam um 6 Uhr direkt vorm Fenster meines Zimmers in der Bahnstation der preußische Passagierzug an, mit dem die sterbliche Hülle T.s eintreffen sollte, und nach einigen Minuten kam der Bediente mit der Nachricht angelaufen, daß der Leichnam Turgenews eingetroffen sei, allein, ohne Begleitung und ohne Dokumente, per Frachtbrief, mit der Aufschrift „1 Verstorbener“, weder Vor- noch Nachname! Wir konnten nur erraten, daß das Turgenew sei, doch konnten es letzten Endes nicht sicher wissen. Der Leichnam traf in einem einfachen Gepäckwagen ein, der Sarg stand auf dem Boden, verschlagen in einer gewöhnlichen Reisekiste für Frachtgut; Während wir die Kiste mit dem Sarg aus dem Waggon trugen... bereitete der Dekan in der Kirche den Katafalk und die Kronleuchter vor... es ertönte ein langgezogener Klang - „Vivos voco! Motuos plango“ - Das war der erste Ruf und Gruß an den Verstorbenen in der Heimat - und unglaublich schwer erschütterten die wehmütigen Laute der Glocke das Gehör eines jeden von uns, der verstand, was wir in dieser Minute vollbrachten“.

Die sterblichen Überreste blieben noch drei Tage in Wershbolowo. Erst am 27. September, das heißt 36 Tage nach Turgenews Tod, um 10 Uhr und 20 Minuten morgens, kam der Güterzug mit dem Sarg des Schriftstellers am Bahnsteig des Warschauer Bahnhofs von Petersburg an.



Борис Хазанов

Ветер изгнания

Leb die Leben, leb sie alle,
halt die Träume auseinander,
sieh, ich steige, sieh, ich falle
bin ein anderer, bin kein anderer.

P.Celan. Aus dem Nachlaß¹

Коротко об авторе

Борис Хазанов родился в 1928 г. в Ленинграде, изучал классическую филологию в Московском университете. На последнем курсе был арестован по обвинению в антисоветской агитации, приговорен Особым совещанием к 8 годам заключения в лагере. После освобождения окончил медицинский институт в Калинин (ныне Тверь) и работал врачом в деревне и в Москве. Кандидат медицинских наук. Был долговременным сотрудником подпольного самиздатского журнала "Евреи в СССР". Под угрозой повторного ареста эмигрировал в 1982 г. из СССР в Западную Германию. В 1984-1992 гг. редактировал журнал "Страна и мир" (Мюнхен) и был его издателем. Автор статей, новелл, романов, опубликованных в России, Германии, Франции, Италии и США. Член интернационального ПЕН-клуба. Живет в Мюнхене.

С ТЕХ ПОР, как существует цивилизация, существует эмиграция, с тех пор, как существуют рубежи, существует За-рубежье. Поистине у литературного эмигранта есть право гордиться древностью своей участи. Основоположником русского литературного рассеяния можно считать князя Андрея Курбского, но генеалогия изгнанной литературы много старше. На берегу Понта беглец греется у огня рядом с тенью Назона. Вместе с Данте в чужой Равенне, заочно приговоренный к смерти, не он ли со злобной радостью заталкивал папу Бонифация в ад? Столетия мало что изменили в его судьбе, что такое отечество? Место, где ты не будешь похоронен. Герцен покоится на парижском кладбище за три тысячи верст от Москвы. На Северном острове новой Зеландии, на окраине Окленда лежит немецкий поэт Карл Вольфскель под камнем с надписью: Exsul poëta. Поэт-изгнанник. Достоин ли он сочувствия?

"Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник. Польнью пахнет хлеб чужой". Старый мотив: о жалкой участи просителя в чужих домах, о горьком хлебе чужбины (lo pane altrui) говорит эмигрант XIV века Данте. Предполагается, что дома хлеб сладок. Ничего подобного. Ахматова не могла признаться себе, что и она - чужая в собственном доме.

СЛОВО exsilium, вошедшее в новые языки, встречается у авторов I века и спустя два тысячелетия означает все то же. Изгнать значит прогнать насовсем, навсегда, чтоб духу твоего не было. Из-

гнанный умирает для тех, кто остался. Так было и с нами. Между тем мы остались живы. И прошли годы, и кое-что изменилось, и о нас вспомнили на бывшей родине. Вспомнили, чтобы торжественно объявить нам, что мы, беженцы и отщепенцы, принадлежим прошлому: граница стала проницаемой, эмиграция утратила свой резон.

Но изгнание - это судьба; судьбу, как известно, конем не объедешь. Это пожизненное клеймо; если угодно, экзистенциальная категория. Можно объявить изгнание неактуальным - сделать его нереальным невозможно.

Византийская пословица гласит: когда волк состарился, он издает законы. Разве мы не византийцы? Мы слишком хорошо знаем эту страну. В новом обличье она кажет нам прежний оскал. Так, по крайней мере, нам кажется.

Мы жили в век полицейской цивилизации. Ее памятники обступают каждого, кто приезжает в Москву; только ли памятники? И даже если бы гигантская опухоль в центре столицы была вырезана, если бы вместе с комплексом зданий тайной полиции была снесена вся многоэтажная храмина коррупции, дикости и произвола, даже если бы худшие опасения обманывали изгнанника, - возвращение оказалось бы для него второй эмиграцией.

РАЗУМЕЕТСЯ, это человек прошлого. Все часы остановились в тот день, когда он уехал. Вы можете сто раз повторить ему, что все изменилось - родина стоит перед его глазами, как лицо умершей женщины на фотогра-

фии. Он не в состоянии поверить, что на самом деле она жива, и снова замужем, и рождает детей, и даже чего-то достигла в жизни.

Все его существо - сознает он это или нет - противится предположению, будто "у них" там может выйти что-то путное. Это бросается в глаза у эмигрантов первого послереволюционного призыва: будущее, на которое они все еще надеялись, было не что иное, как прошлое. Они грезили о стране, которой давно не было; а та страна, которая продолжалась, казалась им безнадежной. "Солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным", говорит Толстой.

Было бы несправедливо подозревать у этого человека мстительные чувства. Если они и были, то давно перегорели. Эмиграция пожимает плечами, когда слышит об успехах отечества, но не потому, что желает ему зла, о, нет, - а потому, что она так устроена, потому что обременена памятью и живет этой памятью.

С изгнанием ничего не поделаешь, это отъезд навсегда. Рейс без обратного билета. Побег с концами. Вылезти из подкопа по ту сторону тына, вышек с прожекторами, штрафных полос и проволочных заграждений; уйти в потусторонний мир, или, лучше сказать, уйти из потусторонней жизни в широкий мир, из рабской зарешеченной страны - на волю.

ЗА ЭТУ УДАЧУ нужно было платить. В сущности, за нее нужно было расплатиться всей прожитой жизнью. Государство, которое спроводило беженца пинком в зад, вместо того, чтобы расправиться с ним, как оно привыкло расправляться с каждым, в ком подозревало хотя бы тень несогласия, - не довольствовалось тем, что ограбило



его до нитки, отняло все его права, его достоинство и достояние. Нужно было истребить его прошлое, зачеркнуть все, что он сделал, выскоблить всякую память о нем. Отныне его имя никогда не будет произноситься. Все, что он написал, подлежит изъятию и уничтожению. Его не только нет, его никогда не было.

Зато никуда не денется, никогда не пропадет дело с грифом "Хранить вечно". Зубастая пасть хранит память об ускользнувшей добыче. Где-то на стеллажах километровых архивов лежит как ни в чем не бывало его пухлое dossier. Может, когда-нибудь еще удастся его сцапать.

Между тем изгнанник увозит, вместе имущество и "корней", нечто бесценное и неискоренимое. В камере для обысков в аэропорту Шереметьево-2, в последние минуты перед отлетом, его раздевают догола, но самого главного не находят. Волчи челюсти щелкают, лова пустоту. Невидимая валюта, то неуловимое, что он захватил с собой, - это язык.

ЯЗЫК, неотчуждаемое богатство, крылья, которые вырастают за спиной у сброшенного со скалы! Язык, который не имеет цены, не изменит и не обманет, как конь в песне Казбича; язык, не напрасно названный жилищем бытия, тот, что возрождается в каждом из нас и переживает всех нас, живых и мертвых, и через голову современников и правителей связывает нас с традицией. Гейне назвал Библию поргративным отечеством вечно скитающегося народа. Единственное, вечное и неистребимое отечество, которое изгнанник унес с собой: язык.

НО ВЕДЬ ТАМ, где он бросил якорь, все называется по-другому, и даже если ему не совсем чужд диалект приютившей его страны, он тотчас заметит, что и думают здесь по-другому. Его язык не поддается пересказу, а значит, и не имеет ценности; все равно что неконвертируемая валюта. Благословение писателя-эмигранта, родная речь, - это вместе с тем и его тюрьма. Не сразу доходит до него, что он притащил с собой свою собственную клетку. Любой язык представляет замкнутый контур мышления. Но русский изгнанник вдвойне страдает от непонимания, ибо он прибыл из гигантской провинции, из закрытой страны, и самая ткань его языка пропахла заглостью и неволей.

Власть воспоминаний, привычки и повадки, привезенные с собой, мешают ему спокойно и с достоинством вступить в новый мир; чем больше он внушает себе, что он сын великой страны, тем боль-

ше трусит показаться провинциалом; то, что называется культурным шоком, есть психологический или скорее психопатологический комплекс растерянности, неуверенности, заштатного высокомерия и страха признаться самому себе в том, что ты не понимаешь, куда ты попал. Счастье обретения свободы обернулось разочарованием. Душевная несовместимость становится причиной смешных и печальных недоразумений.

О них могут дать представление первые пробы пера на чужбине, отчет новосела о жизни в другой стране: вопреки распространенному мнению, первые впечатления ошибочны. Девять десятых того, что написано русскими беженцами вскоре после прибытия в Европу или Америку, подтверждают это. "Свежий глаз" наблюдает поверхностность, ничего не зная о том, что под ней, он не может отрешиться от стереотипов, от иллюзий и предубеждений, он не столько наблюдает, сколько ищет в увиденном подтверждение чему-то затверженному, когда-то услышанному, где-то вычитанному; свежий глаз на самом деле совсем не свежий и невольно искажает пропорции, преувеличивает значение второстепенного и побочного, не замечает главного.

ЗНАНИЕ языка не ограничивается умением понять, о чем говорят; скорее это умение понять то, о чем умалчивают. Знание языка - это знание субтекста действительности. Неумение понять окружающих, а еще больше непонимание того, о чем они не говорят, о чем не принято говорить, что разумеется само собой, - превращает новичка в инвалида. Сочувствуя ему, с ним невольно обходятся как с несмышленищем. Простой народ принимает его за слабоумного. Горе безъязыкому! Он как глухонемой среди шумной толпы, как зритель кино, где выключен звук. Действующие лица бранятся, смеются, жестикулируют. Что происходит? Как пытаются сложить разорванное в клочки письмо, так и он титится сложить смысл из разрозненных, с трудом пойманных на лету, подобранных на полу слов. И даже когда мало-помалу он овладевает туземным наречием, многое, о, сколь многое остается для него непонятным, неизвестным; научившись кое-как читать текст жизни, он не знает контекста.

Но он - писатель и помнит о том, что искусство гораздо больше интересуется вытесненным, чем разрешенным, скрытым, чем явным, подразумеваемым, чем произносимым. Он писатель, но писать может только о том, что знает досконально. Это знание ему не приходится добывать. У

него открытый счет в банке памяти, и он может брать с него сколько захочет. Вот почему литература изгнанников обращена к прошлому, к тому, что оставили за кордоном.

ЭМИГРАНТ переполнен своим прошлым. Теперь он может его, наконец, основательно переварить. Переваривание начинается, когда обед закончен - когда перестают жить прежней жизнью. Эмигрантская словесность чаще всего не ищет новых тем. И когда она "возвращается", то кажется многим на родине устарелой. При этом не замечают, что она создала и освоила нечто, может быть, более важное - новое зрение.

Человек, побывавший на войне, напишет, может быть, о мирной жизни так, как никогда не напишет тот, кто никуда не уезжал. Эмигрант иначе и зорче видит свою оставленную страну, чем тот, кто ее не оставил. В этом, возможно, состоит преимущество внутренней эмиграции, преимущество лучших писателей недавних лет.

Люди, ослепленные предрассудками или оболваненные пропагандой, думают, что изгнание обрекает пишущего на немощь. Власть, приговорившая литератора к остракизму, вдвойне преуспела, сперва заткнув ему глотку на родине, затем выдворив его на "за пределы". Теперь он окончательно задохнется. Так она думает. Кому он там нужен? Вырванный из родной почвы, он повиснет в воздухе. Так ей кажется. И она радостно потирает руки, свои грязные волосатые руки, где под ногтями засохла кровь.

Между тем все эти метафоры более или менее ложны, потому что литература - сама себе почва. Литература живет не столько соками жизни, сколько воспоминаниями о пережитом: память - ее питательный гумус. Искусство бездомно и ночует в подвалах: в подземелье памяти.

Если труд и талант составляют две половины творчества, то память - его третья половина. Если независимость влечет за собой кару, если писательство объявлено государственным преступлением, если родина, а не чужбина приговаривает писателя к молчанию и ставит его перед выбором: изменить себе или "изменить родине", - эмиграция предстает перед ним как единственная возможность отстоять свое достоинство. Единственный способ сохранить верность литературе, единственный шанс спасти честь языка. Эмигранту присуще непомерное самомнение. С неслыханной заносчивостью он повторяет слова, приписываемые другому

изгнаннику: Wo ich bin, ist der deutsche Geist.²

Где я, думает он, там торжествует свободное слово, там русский язык и русская культура.

ОН УВЕРЕН, что настоящая литература не страдает от дистанции, скорее наоборот. Литература жива не тем, что видит у себя за окошком, а тем, что стоит перед мысленным взором пишущего. Литература питается не настоящим, а пережитым, она не что иное, как praesens praeteriti, сегодняшняя жизнь того, что уже миновало. Литература - дело медленное. Дерево посреди кустарников публицистики. Литература, говорит он себе, является поздно и как бы издалека.

Мы не совершим открытие, указав на главный парадокс забугорной словесности.

Это - творчество подчас в самых неблагоприятных условиях, так что диву даешься, как оно может вообще продолжаться. Самое существование эмигрантской литературы есть нонсенс. Нужно быть сумасшедшим, чтобы годами предаваться этому занятию, нужно обладать египетским терпением и фанатической верой в свое дело, чтобы все еще писать - в безвестности и заброшенности, без читателей, без сочувственного круга, посреди всеобщей глухоты, в разреженном пространстве. Никто вокруг не знает языка, на котором пишет изгнанник; если его страна и возбуждает у окружающих некоторый интерес, то это интерес чаще всего политический и не тот, который может удовлетворить художественная словесность; в сущности, от такого автора ждут лишь подтверждений того, о чем уже сообщили газета и телевизор. И вместе с тем это творчество, которому жизнь в другой стране предоставляет новый и неожиданный шанс.

ВЫБРАВ удел политического эмигранта, писатель лишился всего. Тем лучше! Он одинок и свободен. Пускай он не решается описывать мир, в котором он оказался, который ему предстоит осваивать, возможно, всю оставшуюся жизнь. Зато этот мир, независимо от того, удалось в него вжиться или нет, прибавляет к его внутреннему миру целое новое измерение. Нет, я не думаю, что век национальных литератур миновал, подобно тому как миновала эпоха национальной музыки и национальной живописи. Но литература, заикленная на "национальном", не знающая о внешнем мире и не желающая о нем знать, обречена: это литература провинциальных углов и дере-

венских околиц. Жизнь на чужбине обрекает писателя на отшельничество, - что из того? Зато он видит мир. Ветер Атлантики треплет его волосы. Зато эта жизнь оплодотворяет его воображение новым знанием, наделяет новым зрением, новым и неслыханным опытом жизни. Об этом опыте не имеют представления те, кто "остался".

Гоголю для работы над "Мертвыми душами" понадобилось уехать в Рим, Тургенев написал за границей почти все свои книги, Достоевский создал в Дрездене лучший, может быть, из своих романов. Расстояние имеет свои преимущества. Взгляду из прекрасного далека открывается доселе неведомый горизонт.

ДЕЙСТВИЕ "Улисса" приурочено к июньскому дню 1904 года. Между тем роман пишется во время Первой мировой войны, печатается после войны. Величайший исторический катаклизм сотрясает Европу - чужак корпит над книгой о дальнем и навсегда покинутом Дублине, о допотопных временах. "Человек без свойств" создавался в межвоенные годы и годы Второй мировой войны, а в огромном романе не наступила еще и Первая мировая война, и действие происходит в государстве, которого давно нет на карте. Томас Манн начинает жизнеописание немецкого композитора Леверкюна 23 мая 1943 г., бомбы сыплются на Германию, но роман и его герой, другие персонажи, разговоры, события - все это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Ничего не осталось от старой России, о которой пишет Бунин, давным давно отгремела и революция, сокрушившая эту Россию, - а он сидит в провансальском городишке и пишет, пишет, как в забытыи, ничего не видя вокруг.

Эмигрантская проза, как жена Лота, не в силах отвести взгляд от прошлого.

Прошлое, однако, может оказаться долговечнее настоящего. Насколько Генрих Белль, только что возвратившийся из американского плена, был в сорок седьмом году актуальней, понятней, ближе, чем укрывшийся в Калифорнии автор "Доктора Фаустуса"! Пятьдесят лет спустя Белль - малочитаемый писатель, а Томас Манн - гроссмейстер европейской литературы. Парадокс в том, что у прошлого может быть будущее, - настоящее же, как ему и положено, может стать только прошлым.

ОСТАВИВ злое отечество, писатель хранит ему верность в своих сочинениях, но не ностальгия, а память движет его пером. Да, он верен отечеству, только это

такое отечество, которого уже нет. В этом, собственно, простое объяснение, почему эмигранты обыкновенно воспринимаются как "бывшие". Они в самом деле бывшие. Изгнанники производят впечатление инвалидов истории. Так оно и есть. Только подчас, как ни странно, инвалиды эти шагают вперед бодрее других. Во всяком случае, упреки в том, что они "оторвались", совершенно справедливы.

Умерший в эмиграции поэт и публицист Илья Рубин писал:

Над нами небо - голубым горбом,
За нами память - соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

Хорошо быть ничьим. Умереть, зная, что никто там по тебе не заплачет. Дом сгорел, и возвращаться некуда, разве только в тот вечный приют, где есть место для всех нас, - в русскую литературу.

¹ Проживи все жизни, не смешивай сны. Смотри - я возношусь, смотри: я падаю, я - другой, я не другой.

(Пауль Целан, из посмертного).

² Где я, там немецкая культура (Томас Манн).

ВСЕМИРНОЕ

СЛОВО

международный журнал

Издается при участии
Санкт-Петербургского отделения
международного фонда
"Культурная инициатива"
191187 Санкт-Петербург

Шпалерная ул., 18,
телефон (812) 513-73-01
факс (812) 274-54-60

**LETTRE
INTERNATIONALE**

Фридрих Горенштейн

"Сто значит?"

Кладбищенские размышления

фото
П. Свердлов

Кладбище и похороны сами по себе настраивают на размышления всякого рода: эпические, лирические, но часто и сатирические. А в русской кладбищенской традиции, к тому же, и хмельные. Классический пример - "Бобок" Достоевского.

"- Да будешь ли ты, Иван Иванович, когда-нибудь трезв, скажи на милость.

Странное требование. Я не обижаюсь, я человек робкий".

"- Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное.

Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и придвинувшись к барышням начал.

- Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпивши..."

Но это уже другой Иван Иванович - из святочного рассказа Чехова "На кладбище".

Время ныне кладбищенское - умирает век. А уж с ним и поколение, к которому принадлежу. Ни век, ни поколение, как известно, не выбирают. Такие уж достались!

Впрочем, знаменитые шестидесятнического поколения вымирать начали некоторое время тому назад, уж в конце шестидесятых шестидесятники начали горжественно хоронить своих мертвецов. Смерть - дело тихое, интимное, а тут начались массовые ше-

ствия, шумные поминовения, некрологи с высокозвучащими подписями, правительственные венки, специальные самолеты для перевозки тела, если смерть случилась в Париже или еще где-нибудь. Кладбищенские карнавалы!

"Ходил развлекаться - попал на похороны. Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости". Это Иван Иванович Достоевского повествует. Хотя кладбищенское веселье уже специфически русское, хмельное. "В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть и неприятные. Вообще, улыбки нехороши, а у иных даже очень. Не люблю. Сняться."

Я лично с Иваном Ивановичем Достоевского согласен, на похороны ходить не люблю, хожу с опаской. Особенно, в лица мертвецов мне знакомых и близких заглядывать не хочу. Близкие мертвецы должны сниться живыми, а не мертвыми. Да и пессимистично чересчур, в жизни и без того пессимизма хватает. Зачем еще кладбищенский с его черной философией.

"Жизнь - канитель, пустое, бесцветное прозябание, мираж. Дни идут за днями, года за годами, а ты все такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусьвающим, стящим. В конце кон-

Aus:

„Was bedeutet das?“

Friedhofsgedanken

von Friedrich Gorenstein

Ein wunderbarer Herbsttag, der Herbst Siebzig. Die Moskauer und Petersburger Frühlinge sind sehr schlimm, faktisch gibt es sie, die Frühlinge, in der Regel, nicht. Es gibt keine beständige Frühlingstemperatur von sechs bis neun Grad, im März ist es noch Winter, ausgehend von den unteren Minus- und Nullgraden, im April ist alles noch um Null und in den unteren Minusgraden, übergehend in niedrige Plusgrade. Und von null Grad steigt die Temperatur dann sofort auf achtzehn, zwanzig Grad (jetzt ist in Europa, im Zusammenhang mit der Klimaveränderung, auch das schlimmer geworden). Etwas anderes ist der Herbst. In Rußland in Moskau und in Petersburg gibt es schöne Herbste, daher Puschkins Liebe für den Herbst, sowohl der Herbst von Boldino als auch Bunins Herbstbilder als auch der Herbst Tjutschews sind keine Zufall.

Also dann, der Herbsttag Siebzig, es ist Sonntag. Ruhig und leer ist es in Moskau, die einen sind auf ihren Datschen, die anderen sind einfach so ins Moskauer Umland gefahren. An einem solchen ruhigen Tag ohne Geschäftigkeit hatten wir uns mit Andrej Tarkowski zu einem Treffen verabredet, um die Vorarbeiten zum Drehbuch des Films „Solarium“ zu besprechen. Wir trafen uns in dem Restaurant „Jakor“ („Anker“), das war so ein kleines Fischrestaurant an der Gorkistraße, unweit vom Belorussischen Bahnhof. Soweit ich weiß, gibt es es auch heute noch, doch herrschen dort jetzt irgendwelche kommerziellen Strukturen, und reichen sie dort nicht nur norwegischen Dorsch oder kanadischen Lachs? Damals hingegen, Anfang der Siebziger, hatte es die Breschnewschtschina noch nicht geschafft, die letzten Säfte für die Militär-Raketen-Bedürfnisse aus dem Land zu saugen, noch waren, wenn nicht die Geschäfte, so doch die Kolchosmärkte voll, und in den Restaurants wurde man noch gut auf Russisch versorgt. Im „Jakor“ konnte man noch verhältnismäßig günstig sowohl gebratene Brasse als auch in Teig gebackenen Zander mit Kartoffeln, sowohl Hecht, Wels oder Quappe mit Pilzen als auch mit Kascha gefüllte Karasche mit gesäuerten Äpfeln bestellen.

Wir trafen uns im „Jakor“ zu dritt: ich, meine damalige Frau Marika, eine Moldawierin, Schauspielerin und Sängerin am Zigeunertheater „Roman“, und Andrej. Die Einzelheiten des Gesprächs erinnere ich nicht, aber sie sind auch nicht wichtig, sondern wichtig sind, wie mir scheint, dieser lichte goldene Herbsttag, diese ganze Welt und Ruhe

rundherum, und das wohlschmeckende Fischgericht, und die leichte stroh-goldene schimmernde Farbe des moldawischen Weins, all das war im Grunde leicht, wenn nicht von epischen Gedanken, so von den lyrischen Gefühlen des Films „Solaris“. Im übrigen, von Gedanken auch. Marika las damals gerade den „Don Quixote“, und fädelte ihrer Gewohnheit nach ein naives bäuerliches Gespräch über „Don Quixote“ ein. Und dies war der Anstoß, die menschliche, schutzlose Größe Don Quixotes als Opposition zum erbarmungslosen Kosmos des Solaris zu verwenden. Danach führen wir auf Vorschlag von Andrej ins „National“, ein von mir nicht gerade geliebtes Restaurant wegen der dort verkehrenden guten Gesellschaft, dem sich Andrej leider anschloß, indem er dort inmitten der Geschäftigkeit des Lebens saß. Im übrigen, an diesem lichten Tag war das Restaurant „National“ halb leer, und man versorgte uns natürlich gut, obwohl selbstverständlich teurer als im „Jakor“. Das Restaurant war besonders für seine georgischen Weine berühmt: den roten, genauer dunkel-granatrotten Mukusani und den weißen Zinadali. Im „National“ habe ich plötzlich meinen Kindheitsfreund getroffen, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, und der jetzt an der Grenze in Kuschka diente, sich in Moskau auf der Durchreise befand und in das Restaurant zum Mittagessen gekommen war. So saßen wir schon zu viert, und diese Menschen aus ganz verschiedenen Enden meines Lebens begegneten sich überaus harmonisch, auch wenn sie sich nie mehr wieder begegneten. Und diese Gefühle, die lichten Minuten des vergänglichen Lebens fanden Eingang in „Solaris“. „Solaris“ begann in Ruhe und Erholung. Die Geschäftigkeit des Filmgeschäfts kam, leider, aber später. Die „erlesenen Schlauköpfe“ flößten Andrej ein, daß „Solaris“ kein geglückter Film sei, ein fast kommerzieller, aber kein avancierter, da das Sujet einfach zu klar und die Ideale zu klar seien. Kommt Zeit, kommt Rat, meine „avancierten“, „erlesenen“ Herrn. Im übrigen ist es schon jetzt zu sehen. Was ist „Solaris“? Ist das denn etwa kein in den Kosmos fliegender Friedhof, auf dem alle lebendig und alle tot sind? So ein „Bobok“ von Dostojewski. Doch er ist nicht nur eine psychologische Verkörperung, sondern auch eine visuelle.

Von allen menschlichen Werken ist der Friedhof der Natur am nächsten. Das merkt man auch bei Shukowski. Wenn man Shukowski liest, kommt man sich vor, als ob man über einen Friedhof ginge. Ein Friedhof, der einem Wald, einem Fluß, einem Feld ähnlich ist. Du bist ganz in der Stille, ganz außerhalb des Lebens: „Wie kurz und sinnlos das Leben ist“ - das sind schon die Friedhofsgedanken von Bunin hinter der Mauer eines alten Dorffriedhofs aus der Erzählung „Das Dorf“. „Auf einen Kreuz las

цов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: „Хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил“. Так чеховский Иван Иванович предается кладбищенским размышлениям.

В том-то и дело, главная забота будущего покойника - что скажут? А по-моему, еще важнее - кто скажет.

Правило есть такое: о покойниках говорить только хорошее или молчать. А я думаю, похвала с пафосом, сладкие песнопения из уст „закрытых друзей“, тех, кто проявлял безразличие, а то и способствовал житейским бедам, еще хуже брани, самой нечистой.

У мальчика Мотла умер отец (Шолом Алейхем, повесть „Мальчик Мотл“), кантор Пейся. „Возле нашего дома толпа: мужчины ... женщины, входят ... выходят. Вот идет богач Йося! Он - староста синагоги, в которой мой отец двадцать три года служил кантором. Йося машет руками, сердится на мать и толкует:

- Сто знацит, сто знацит, почему мне не сказали, сто кантор Пейся так серьезно болен? (Он не выговаривает „ш“ и „ч“). Почему вы молчали?

- А зачем мне кричать, - оправдывается мать, обливаясь слезами, - весь город видел, как я мучаюсь, хочу его спасти. Он сам все время так просил его спасти.

А богач Йося горячится:

- Сто вы мне рассказываете, весь город. Кто это, весь город? Мне надо было сказать, обязательно мне. Все на мой счет: погребение, саван, все на мой счет. Сто знацит?”

Это „Сто знацит?“ шоломалейхемовского местечкового богача Йоси, старосветского провинциала, имеет весьма широкий спектр и умственное разнообразие. „Сто знацит?“ в устах нравственно слепого мясника Йоси не смущает. Однако и высшие разряды Новодевичьего и парижского Sainte-Genevieve-des-Bois без этого „Сто знацит?“ не обходятся. Но об этом ниже.

В шекспировской кладбищенской лирике и эпосе Гамлета смущает и волнует, какие могильные сны ему будут сниться. А потусторонние сны возможны ведь только из прожитой жизни. Разумеется, как всегда во снах, с фантазиями, иногда невероятными, но - только из прожитой жизни. Во сне человек всегда потусторонний, не даром ведь Дон Кихот говорит, что сон наиболее близок к смерти.

Эти слова Дон Кихота использованы в фильме „Солярис“, в исполненной по-евангельски сцене в библиотеке космического корабля. Но ведь и прошлое напоминает сны, отличаясь, однако, тем же, чем летописи отличаются от романа, чем летописец отличается от романиста - отсутствием субъективной фантазии. И в летописи, и в мемуарах возможна, конечно, весьма великая игра фантазии, и во всех литературных направлениях от реализма до символизма. Но это уж играет и творит не субъект, а объект, то есть бытие. Потому, чтоб завершить краткое это предисловие к своим кладбищенским раз-

мышлениям, хочу сказать, что я лично по ту сторону бытия еще не собираюсь. Для того нет ни нравственных, ни физических причин. И работы еще много впереди. Как писал Гоголь, „много нами неизведанного, пренебреженного, брошенного следует выставить ярко и в живых, говорящих примерах. Поэтому мне кажется, что я имею некоторое право победить себя, и позаботиться о своем самосохранении, то есть о своем здоровье“.

Однако уж и по эту сторону начинают повторять „Сто знацит?“ - вот беда! Поговаривают и даже пишут. Вот что раздражает и возмущает. Поэтому так важны для меня пососторонние сны-воспоминания. Но на толстые тома-мемуары времени не имею.

Толстые мемуары, как правило, пишут писатели в отставке. Конечно, возможны исключения, но правило таково. Я же - писатель служивый, действующий и еще долго намерен таковым оставаться. Мемуарность у меня эскизная: небольшие зарисовки. Я их делал в своем памфлете (литературное приложение к журналу „Зеркало Загадок“ 1997), кое-что хотел бы дописать и дорисовать, по возможности убрав субъективную фантазию и предоставив жизни самой играть и фантазировать.

2

Поначалу казалось после киевского прозябания, что я в Москве очень скоро „пронсусь“ знаменитым. Первый мой рассказ „Дом с башенкой“ еще до публикации распространялся в гранках и читался некоторыми „именами“. Но... Однако, по порядку.

Осенью 1964 года в Москву впервые приехал американский драматург Артур Миллер, известный также как муж Мерилин Монро. Это и сыграло роковую и печальную роль в моей творческой карьере, а значит - и в личной жизни. Не подумайте, однако, что Артур Миллер или Мерилин Монро писали на меня доносы в отдел пропаганды, тем более, что Мерилин Монро вовсе в Москве не было, ибо Артур Миллер развелся с ней за два года до приезда, и сопровождала его новая жена - шведский фотограф, издавшая позднее альбом фотографий, посвященный посещению Артуром Миллером Москвы.

На одной из фотографий, среди прочих, я изображен, правда, под фамилией то ли Гринберг, то ли Гриншпун, уж не помню точно. Видно, новая шведская жена Артура Миллера фамилию неправильно записала, но облик запечатлела мой, ныне по прошествии стольких лет трудно узнаваемый. И дело не только во внешности. После киевского клоповника был я тогда ужасно избалован московским вниманием, думал, все меня любят и только и ждут, чтобы добро мне делать. Потому так ошеломило меня происшедшее в тот вечер в театре „Современник“ на приеме Артура Миллера. Однако, по порядку. Это значит - вернуться несколько назад, чтобы понятно стало, каким образом я оказался среди избранных приглашенных.

Как-то апрельским днем шестьдесят четвертого года у меня зазвонил телефон, точнее, не у меня, а в

общежитии литинститута, где высшие сценарные курсы арендовали комнаты. А я на тех курсах числилсь вольнослушателем без стипендии.

- Кто говорит?

- Любимов Юрий Петрович. Слышали обо мне?

- Нет.

- Я режиссер и создаю на Таганке театр. Мы решили пригласить некоторых писателей. Авось напишут для нас пьесы. Ваш рассказ "Дом с башенкой" я читал в гранках.

Разумеется, не точно этими словами, но в таком духе велся разговор. Пьес я никогда не писал, однако было лестно после киевского прозаявания быть приглашенным среди "имен". Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский - весь джентельменский набор. Писал все лето, подсчитывал - пятнадцать страниц написал - значит сцена кончилась. Пьеса называлась "Волемир". Осенью принес ее в театр. Юрий Петрович Любимов сразу вышел ко мне, обещал быстро прочитать.

Пришел я через несколько дней. Юрий Петрович Любимов не вышел ко мне - прислал директора поить меня кофе. Поил долго. Наконец, Юрий Петрович Любимов пришел с моей рукописью, разводя руками и пожимая плечами, очень мило смущенно, точно не он мне, а я ему отказываю. "Вот и конец карьеры драматурга", - думаю. Однако, где-то через неделю, а, может быть и раньше, - опять телефон.

- Это из литчасти театра "Современник". Мы прочитали ваш рассказ "Дом с башенкой". Не напишете ли для нас пьесу?

- Я написал пьесу по заказу Юрия Петровича Любимова, но ему не понравилось.

- И очень хорошо. Мы совершенно разные, и то, что ему не понравилось, для нас - положительная характеристика. Принесите пьесу!

Принес. Через неделю позвонил с колотящимся сердцем и даже Бога просил помочь, хоть был тогда атеистом. Бог моей просьбы не услышал.

- Я читала, - сказала завлит Котова, - читал и мыслящий актер Валентин Никулин. Мы ничего не поняли. Не драматургия, а хаос какой-то (бедный "Волемир", гораздо позднее мне рассказали, что Товстоногов назвал "Волемира" "талантливым бредешником").

На сценарных курсах я учился в мастерской у Виктора Сергеевича Розова. Дал ему, не надеясь на одобрение: реалист, романтик, почти консерватор. Понравилось.

- На Западе сейчас театральной абстракцией увлекаются. А ваша пьеса как раз все это подсознательное чувство переводит из абстракции в реальность, - так примерно сказал.

Хорошо, что приехав из киевской провинции, не созревший умом, попал я в мастерскую В. С. Розова. В моде тогда были у творческих вундеркиндов "Треугольные группы", Бекет, Ионеско, ирония Хемингуэя. А мне нужна была начальная школа, школьная хрестоматия, о которой я уже писал с почтением и к которой по сей день сохранил почтение.

- Пьесу надо отдать в "Современник", - сказал мне Розов.

- Я давал - им не нравится.

- Ефремов читал?

- Ефремов не читал. Это решалось на уровне завлита.

Розов отдал пьесу Ефремову, и наступил светлый период моего общения с "Современником", к сожалению, недолгий. Пьесу прочитали на труппе. Читал сам Ефремов, хоть и в состоянии Ивана Ивановича, но неплохо прочитал. Всей труппе на этот раз понравилось, по крайней мере, никто не высказался против, кроме М. М. Козакова. Уж не помню, каковы были его аргументы. Но его дружно затюкали.

- Ты все неправильно говоришь, - сказал И. Кваша.

- Сыграем, сыграем, - сказал Табаков

Вокруг, как в романах, цвели улыбки, все сбывалось наяву. Розовым видением уж мелькал пред глазами договор, красивые женщины, новые штiblеты вместо рваных киевских ботинок. Впрочем, кое-что осуществилось очень скоро. Я был приглашен на элитарную встречу с приехавшим в Москву американским драматургом Артуром Миллером, пьеса которого "Случай в Виши" репетировалась театром.

Разумеется, я пришел задолго до назначенного времени, пришел первым из званных и в одиночестве сидел в кабинете главного режиссера театра О. Н. Ефремова, предвкушая предстоящие радости. Не знаю, сколько так просидел, может, даже и час. "Счастливые часов не наблюдают" и времени не ощущают. Изредка звонил телефон, но никто не появлялся.

Наконец, в кабинет вошел упитанный человек в дорогом праздничном костюме с копной черных волос, коротконогий, с увесистой задницей. Он посмотрел на меня темными сторожевыми бдительными глазами. Я помню этот взгляд, хоть минуло уже столько лет. Он осмотрел меня снизу вверх от рваных киевских ботинок до пиджака явно с чужого плеча; на мое лицо покойнического зеленовато-землистого оттенка он, по-моему, и не смотрел за ненадобностью.

- Вы должны немедленно уйти отсюда, - сказал мне человек, - сейчас сюда придут важные особы.

Думая, что это непроинформированный администратор, я сказал:

- Если вы администратор, то по поводу моего приглашения обратитесь к главному режиссеру или директору театра.

- Я не администратор, - раздраженно сказал человек, - я - драматург Шатров.

- Если вы драматург Шатров, то занимайтесь драматургией. Я - драматург Горенштейн.

На этом диалог оборвался, потому что в кабинет вошли Олег Николаевич Ефремов, Артур Миллер со своей шведской женой, актеры, режиссеры, переводчики. Стало шумно и весело. Среди прочих Олег Николаевич Ефремов весьма лестно представил меня Артуру Миллеру и его шведской жене, которая долго говорила со мной, то ли по-английски, то ли по-

Tichon Iltsch: „Was für schreckliche Naturalabgaben zieht das Leben von den Menschen ein!“ Doch nichts Schreckliches war ringsherum, er ging weiter, stellte sogar mit einem gewissen Vergnügen fest, daß der Friedhof wächst... auf einem von schlechtem Wetter und der Zeit regenbogenfarbenen Grabmal eines Kollegienassessors konnte man die Verse entziffern: „Dem Zar hat er ehrlich gedient, Vom Herzen liebte er den Nächsten, War geachtet von den Menschen....“ Diese Verse schienen Tichon Iltsch verlogen zu sein. Doch wo ist die Wahrheit?“ Ja, wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit unserer gegenseitigen Beziehungen, die der Lebenden mit den Toten? Wenn man über die Toten schweigt, sind sie wie verschwunden. Aber wenn man über sie nur Gutes sagt, ist das dann nicht so eine lästerliche Lüge, besonders lästerlich dann, wenn man von den Toten im Rückblick sagt „Was bedeutet das?“ (So die Frage des Helden aus der Erzählung „Der Junge Motl“ von Scholom Aleichem fragt, Anm. der Übersetzer.) Auch von den Lebenden im Rückblick zu sprechen, ist eine schöne Lästerung. Schlecht kann jeder von einem Menschen sprechen: Ein bißchen Schmach, ein bißchen Ärger, ein bißchen moralische Unsauberkeit - und das reicht dann schon. Jedoch, um Gutes über einem Menschen zu sagen, muß man, meiner Ansicht nach, ein Recht dazu haben. Besonders über einen Toten, doch auch über einen Lebenden.

Gogol schrieb in den „Ausgewählten Stellen aus dem Briefwechsel mit Freunden“: „Je höher die Wahrheiten sind, desto vorsichtiger muß man mit ihnen sein, sonst kehren sie sich plötzlich in Allgemeinplätze um, und Allgemeinplätzen glaubt man schon nicht mehr“. Meiner Ansicht nach liegen die höchsten Wahrheiten im Geheimnis des Todes, im Geheimnis des Lebens, und vereint können sie nur das Geheimnis des Traums sein. Ich habe die Angewohnheit, die interessantesten Träume, die ich erinnere, in ein Notizbuch zwischen andere Sachen zu schreiben. Ich habe viele solcher Träume aufgeschrieben.

Zum Abschluß werde ich einen dieser geheimnisvollen Träume aus dem Jahre 1979 erzählen: Anna Samojlowna Berser... Zur Erläuterung, das ist dieselbe Anna Samojlowna Berser, Redakteurin der Abteilung für Prosa im „Novy Mir“, die über die Köpfe des Redaktionskollektivs hinweg das Manuskript des unbekanntenen Lehrers Solshenizyn aus Rjasan direkt Twardowski gab. „Ich war überzeugt, daß es Twardowski gefallen wird“, sagte sie mir, „aber Ihr Manuskript „Der Winter 1953“ konnte ich ihm nicht geben, ich war nicht sicher, ob es ihm gefällt“. (Twardowski gefiel es nicht.) Derselben Anna Samojlowna gefiel mein Manuskript, doch einige Zeit später sagte sie, daß sie von mir enttäuscht sei. Ich hatte mich kritisch über Andrej Sinjowski geäußert,

und Andrej Sinjowski war damals für die Intelligenz heilig: Opfer eines Aufsehen erregenden Prozesses.

Es verging noch einige Zeit und bei einem zufälligen Treffen (ich treffe mich nicht mit denen, die von mir enttäuscht sind) erklärte mir Anna Samojlowna, daß sie sich bei mir entschuldigen müsse: betreffs Andrej Sinjowski hätte ich recht gehabt, das sei eine „widerliche Person“. (Ich hatte nicht von der Person gesprochen.) Andrej Sinjowski war zu dieser Zeit schon in Paris, wo er sich ein Haus kaufte, an der Sorbonne lehrte und kritische Artikel in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Syntaxis“ über die Ideen Solshenizyns schrieb.

Fünfzehn Jahre später, als ich nach langer Unterbrechung wieder in Moskau war, hatte ich Anna Samojlowna nicht angerufen, weil ich so beschäftigt war, und man sagte mir dann, sie sei sehr gekränkt gewesen, daß ich nicht angerufen und mich nicht mit ihr getroffen habe. Ja, das ist meine Schuld, für die ich nicht büßen muß, insofern Anna Samojlowna bald gestorben ist. Und mich zu „was bedeutet das?“ zu äußern, möchte ich nicht.

Also dann, in dem von mir 1979 aufgeschriebenen Traum sagt Anna Saomjlowna Berser zu mir: „Ein Spezialist für Dorfspionage möchte mit Ihnen wegen „Metropol“ reden“ (das war ein Almanach, an dem ich mitwirkte). Mich, nebenbei gesagt, hatte man im Unterschied zur im „Metropol“ mitwirkenden Elite nicht kritisiert, für die man „kämpfte“ (wie es hieß), indem man sie kritisierte. Mich ignorierte und verschwieg man. Nun, denke ich, endlich hat man auch mich vorgeladen, das heißt, in die Öffentlichkeit gebracht. Ich komme zu dem Spezialisten für Dorfspionage, doch der ist ein Pudel, wie es scheint, sogar ein schwarzer, ein faustischer. Außerdem beschäftigt - er schimpft mit einer Katze. Die faucht ihn an, er bellt sie an. Ich sage:

„Ich bin Gorenstein.“

„Sehr schön“, antwortet der Pudel, „warten Sie.“

Und fährt fort mit der Katze zu schimpfen. Ich warte und warte, bis ich es satt hatte. Ich ging.

Was dieser verhängnisvolle Traum am Vorabend der Ausreise bedeutete, begriff ich erst in der Emigration. Grabesstille, lebendige Beerdigung, kein Märchen, keine Biographie hat mir die Sowjetmacht bei der Entlassung gegeben, obwohl sie mir alles genommen hat. „Was für eine Biographie haben sie dem Burschen verfertigt!“, sagte Anna Andrejewna Achmatowa aus Anlaß des Gerichtsprozesses gegen Brodski.

Das sind jene Märchen, jene schönen Biographien, die im Westen mit Immobilien, hoch dotierten, angesehenen Preisen und ähnlichem belohnt wurden. Und das Talent? Das Talent ist ohne eine schöne Biographie für die westlichen Funktionäre nicht von In-

шведски. Я не знаю ни того, ни другого языка, потому лишь кивал в ответ.

Не буду описывать всего дальнейшего, да и не помню подробностей, явно безликих. Помню лишь, что в конце встречи Артур Миллер, который впервые тогда приезжал в Россию, высказался примерно так:

- Теперь я хоть вижу, что у вас разные лица.

Такое высказывание Артура Миллера Олегу Николаевичу Ефремову, который, кстати, пребывал в состоянии Ивана Ивановича, не понравилось:

- А вот это он нехорошо сказал.

Не знаю, перевели ли такие неодобительные слова Олега Николаевича переводчик. Скорее всего, нет, потому что вечер окончился бесконфликтно и благополучно для всех. Но только не для меня. Это, правда, стало ясно некоторое время спустя, когда посланная в управление театров, то есть в цензуру, пьеса „Волемир“ встретила ожесточенный отказ. Хотя, опять неточность. То, что в основе ожесточенного отказа цензуры лежал мой конфликт с Шатровым, дополненный, к тому же, ревностью к лестным словам, обо мне сказанным, стало ясно гораздо позже и окончательно подтвердилось уже в наше время, когда раскрылись архивы и заговорили свидетели. Тогда же лишь стало ясно, что пьесу не пропускают, шансы сценического воплощения ее практически равны нулю.

Пьесы Шатрова косяком шли на сцене, по которой вышагивали кремлевские курсанты, держа карабины с примкнутыми ножевыми штыками. Большевики с человеческими лицами актеров театра „Современник“ вызывали бурные аплодисменты прогрессивной публики. А мои приходы в театр становились все более в тягость, и эйфория первого знакомства давно минула.

Пробовал Ефремов получить цензурное разрешение, отдав пьесу в Рижский русский театр - не получилось, пробовали молодые актеры Даль, Мягков и прочие самостоятельно репетировать - получилось неинтересно. Досаждало и мое бытовое неустойство. Приходилось возиться, прописываться где-то на 101-ом километре от Москвы на чужой даче в Тарусе. А вместо благодарности я критиковал, точнее, язвительно отзывался о репертуаре театра - большевистских пьесах Шатрова, литературщине Рощина. К тому же, я примелькался и надоел своей унылой грустью и язвительным юмором в и без того пересыщенной интригами театральной коммуналке.

В общем, кто хочет понять, как восторженная эйфория сменяется раздражением и пренебрежением, пусть изучает длинные трактаты по психологии. Скажу лишь, что именно Ефремов был автором „мнения“ обо мне, которое высказывал даже и в моем присутствии: „Плохой человек“, „тяжелый человек“, „всех ругает“. „Мнения“, которое так широко распространилось в нашей „прогрессивной“ среде, которое бытует по сей день и которое на долгие годы закрыло мне все пути и отняло много сил и здоровья.

Разумеется, цензура запрещала и другие произведе-

дения. Среди прогрессивного шестидесятничества даже считались лестными запреты, „пробивание“ и т. д. Но в моем случае запрещалось не произведение. Запрещали меня. Мне рассказал недавно некий N. N., который присутствовал в цензурной инстанции при разговоре о моей пьесе „Волемир“:

- Нет, это не пропустим на советскую сцену. нас информировали: хаос и абстракция (такое от Шатрова).

N. N. начал было робко возражать, но должностное лицо перебило его:

- И вообще, Горенштейна не пропустим. Плохой человек, тяжелый человек, злой человек, всех ругает. Зачем он нам нужен! Разве у нас мало хороших людей? (Это уж от Олега Николаевича).

Разумеется, я не говорю, что Олег Николаевич, подобно его другу Шатрову, шел в инстанции с доносами. Но ведь в этом нет надобности. Достаточно публично высказать мнение, пачкающее репутацию, а уж кто понесет - всегда найдется.

Плохой человек в советской системе - понятие идеологическое. Так и было записано обо мне в инстанции: „Плохой человек, тяжелый человек, злой человек“. Именно это, а не обычная цензура, сделало мою жизнь горькой на многие годы. Именно это и было подлинной цензурой.

Сладкая жизнь „хорошего человека“ Шатрова, который на миллионы Ильича ел ананасы, рябчиков жевал и при своей короткой толстозадолицей внешности потреблял тела молодых красоток, без активной поддержки Ефремова, Волчек, Ульянова, Захарова и прочего истеблишмента была бы невозможна.

В „мнении“ есть нечто подобное кафкианскому эху. Вылетает... Возвращается... Кружит в гулком пространстве.

- Про вас говорят, что вы плохой человек, - сказал молодой киношник, у которого я по его просьбе согласился сняться в киносюжете.

- Не случайно про вас говорят... - Высказался, не закончив мысли, популярный комедиограф Э. Рязанов.

- Сяду рядом с Горенштейном, и ничего... А ведь слышал... - это много лет назад какой-то провинциал московским хозяевам в моем присутствии.

А этим летом в Москве молодая журналистка из „Московского Комсомольца“, бравшая у меня интервью:

- Меня предупредили, - помолчала, - что может быть тяжело...

- Я не говорил, человек плохой. Я говорил, человек с плохим характером, - так сказал театральный режиссер Л. Хейфиц, числившийся в „друзьях“, тех самых, про которых говорят, что при таких друзьях враги излишни. Потому приходится прибегать к самозащите, используя колющее оружие литератора, наподобие набоковского коллекционирования: прикалывать к бумаге. Описал, приколот - освобожден. Но это непросто, особенно, если речь идет о так называемых „друзьях“ с их разговорами „по душам“ и задранными гостями.

Кстати, Л. Хейфиц был „гонимым“. Но „официаль-

но гонимым". Это значит, что, несмотря на "гонимость", вместе с другими людьми с "хорошими характеристиками" имел хорошие квартиры и хорошие зарплаты. Не поймите меня превратно. Я не осуждаю огульно всех людей с хорошими квартирами и хорошими зарплатами. Я лишь хочу сказать, что гонимость тоже бывает разная. И для меня, "плохого человека с плохим характером" даже "официальная гонимость" была недоступна. Из-за "мнения". (К сожалению, "плохим человеком" я тогда не был. "Плохим человеком" стал я лишь теперь. Однако теперь это менее плодотворно, ибо теперь "мнение" бессильно напасть на меня. Все, что "мнение" могло, оно сделало раньше. Будь я раньше "плохим человеком", многое делал бы продуманнее, осторожнее и умнее. И с персонами обоего пола общался бы раздельней. С иными же и вовсе не общался бы.

"Про меня говорят, что я сволочь, что я хитрый и злой черкес". Это у Давида Бурлока, друга Маяковского. Кто говорит? "А судьи кто?", как у Грибоедова. Или у Дедушки Крылова: "Избави Бог и нас от таких судей".

К сожалению, Бог не избавляет. Не Божье это дело. Другой, скопытами, дело вершит.

"Мнение" издавна определяло в России судьбу человека. Ахматова писала: "Я в своей книге дошла до любопытного заключения, что главные виновники гибели Пушкина - это его друзья". То есть тогдашний "прогрессивный" истеблишмент.

Говоря языком Евангелия, "мнение", особенно в так называемые "вольные периоды" - Синедрион, а цензура - Пилат, исполняющий приговор. Не следует также забывать Иуд-друзей, доносчиков без погон, роль которых особенно возрастает в "вольные периоды". Относительно меня приговор этот среди истеблишмента типа Волчек-Плутчек по сей день остается в силе. И Иуд хватает. Но Пилата нет, и потому приговор этот теперь личностный, но не тотальный.

"Неплохой поэт, но скверный человек", - сказал о Пушкине генерал Паскевич. А откуда Паскевичу и другим тогдашним начальникам знать, какой Пушкин человек? От "друзей" и прочих "хороших людей". Информацию получали напрямую через таких, как Булгарин и косвенную - через "мнение" таких, как Вяземский и другие. Но будущее "Сто значит?" в свой адрес Пушкин, конечно, предвидел:

Бить может - легкая надежда,
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И скажет: То-то был поэт!

(Вяземский и прочие "друзья" сразу после смерти Пушкина начали говорить: "Сто значит?"). Может быть, Пушкин не пережил "мнения", потому что вовремя не порвал с "друзьями". Надо знать не только нравственные заветы великих, не менее важно знать и их ошибки. (Я имею в виду не дуэль. На дуэль я Л. Хейфица за распространение порочащих слухов вызывать не собираюсь. У Набокова: "Вы недугоспособны

Вас уже били"). Надо различать, кто подходит в друзья, а кто вполне подходит в недруги по действиям и высказываниям. Хулу от друзей принимать болезненно, от недругов - естественно.

Эврипид советует: "Рви дружбу с теми, кто подружился с твоими врагами". Эту заповедь я выполнил, порвав с "прогрессивным" истеблишментом и не общаясь в течение последующих пятнадцати лет моего проживания в Москве с Ефремовым и другими. Впрочем, они не слишком грустили. И мне от того веселей не сделалось, ибо я не выполнил другую мудрую заповедь, заповедь Иисуса Сирохова: "Не отрывай всякому человеку своего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя".

Открывал свое сердце всяким людям и устно, и письменно. Даже и в надписях на своих книгах подчас таким мужчинам и женщинам, которые того не стоят, не говорю уж из любви, даже из приличия. И теперь мне беспокоит: не дал ли повода этого рода "всяким людям" говорить обо мне "Сто значит?". (После выхода в России в 1992 году моего трехтомника, где опубликованы романы "Псалом", "Место" и "Искушение", в Москве вдруг обнаружилось множество "друзей", рассказывающих, в том числе и в прессе, о том, как они в свое время мне помогали.)

Недружественные меня не беспокоят. Недружественных имею во множестве и в отечестве, и в эмиграции. Но к ним у меня иммунитет. Во-первых, годы годы мне хороших денег не накопили, но хороший престиж накопили. А во-вторых, недружественный ныне совсем измелчал. Меня теперь не недруги заботят, тем более такие, а "заклятые друзья", которые обо мне все "Сто значит?" норовят сказать. От них как упасешься?

Пример приведу. Один московский кавказец, слушатель мой по сценарным курсам, взял у меня почитать рукопись романа "Зима 53-го года", которую я как раз тогда, в 65-ом году, окончил. Договорились - в такой-то день и час придет ко мне. Жду - не приходит.

Я снимал в то время комнату в коммуналке на Суворовском бульваре. Случайно открыл ящик моего на общей кухне кухонного стола - лежит рукопись. Московский кавказец приходил в мое отсутствие, в неназначенное время. Наверное, знал, что меня нет дома, положил рукопись в ящик и ушел. Потом, передавали мне, в "обществах" он говорил: "Он думал я приду, брошусь его обнимать и поздравлять. А я пришел, положил и ушел... Ха-ха..."

"Ха-ха" - так "ха-ха". Но теперь, я слышал, он же в "обществах" высказывается: друг, мол, мой давний и "Сто значит?"

"Сто значит?" было лейтмотивом поминальных речей на похоронах Андрея Тарковского. Я на похоронах не был. Во-первых, не пригласили: захоронение элитарное, торжественное, дорогостоящее, а кто

тересе. Gibt es denn wenige Talente? Boris Leonidowitsch Pasternak erhielt den Nobelpreis nicht für seine große Poesie, sondern für seine mittelmäßige Prosa, die in Italien als Skandal von dem Verleger Feltrinelli publiziert wurde. Als 1933 der Beschluß gefaßt wurde, den Nobelpreis irgendeinem russischen antisowjetischen Schriftsteller zu verleihen, fiel die Wahl auf Iwan Schmeljow, einem russisch-orthodox-hysterischen Aufschneider, später ein Nazi, der zusammen mit Sinaida Gippius, ihrem Mann Mereshkowski, dem Schachweltmeister Alechin und anderen Subjekten die russische nationalsozialistische Union gegündet hat.

Iwan Bunin erhielt den Nobelpreis nicht deswegen, weil er ein Klassiker ist, sondern weil die sowjetischen Propagandafunktionäre auf Ratschlag von Gorki heimlich andeuteten: die sowjetischen Einwände gegen eine Kandidatur Bunins werden nicht allzu scharf sein.

So sind die Geheimnisse des Traums, die Geheimnisse des Todes und des Lebens.

„Papa“, fragte mich mein Sohn Danja im Alter von fünf Jahren, „wenn wir Skelette werden, können wir“ - er dachte nach - „es so machen“, und machte sich an die Sofalehne.

Ich weiß nicht mehr, was ich ihm antwortete. Und was soll man auch antworten? Die nämliche Frage quälte schon Lew Nikolajewitsch Tolstoj zu Lebzeiten. Ich kann nur sagen: solange wir leben, geht das Leben weiter, „über das Grab hinweg - voran“, so sagte es Goethe. „Die Toten stehen durch die Kräfte der Lebenden wieder auf“, so steht es bei Homer.

Gekürzte Fassung des russischen Textes.

РУССКОЕ РАДИО

106,8 FM

с понедельника по пятницу
с 19 часов SFB 4 Multikulti,
106,8

платит, тот заказывает музыку и все остальное (музыка, конечно, была). Помните, у Шолом Алейхема: "Все на мой счет! Погребение, саван, все на мой счет!" Во-вторых, я вообще за интимные похороны - при полном молчании или при тихих разговорах почти шепотом. Но совет мой вряд ли придется по душе организаторам кладбищенских карнавалов. Разве шепотом скажешь "Сто знацит?" А комитет по похоронам был полон имен высоких виолончелист Ростропович, писатель В. Максимов, ныне тоже покойный, и подобные высокие разряды.

Итак, меня на похороны не пригласили, не удостоился. (Горенштейн был автором сценария к фильму Тарковского "Солярис" - ред.) Но режиссер И. присутствовал и рассказал мне так образно, так по-кинематографически пластично, что я постараюсь передать его рассказ в подлинном виде, даже с сохранением стиля, изредка лишь комментируя. Потому что похороны эти и последовавшее за ними паломничество на могилу обнажают некоторые язвы и язвочки "прогрессивного" истеблишмента. Но передам слово режиссеру И.

- Решили: надо похоронить на белогвардейском кладбище Парижа Sainte-Genevieve-des-Bois.

Какое отношение имеет Андрей Тарковский к белой гвардии? Он, как мы все, был пионером, потом комсомольцем. В партии большевиков, правда, не состоял. Рядом с отцом бы его похоронить, поэтом Арсением Тарковским. Мертвого разрешили бы власти... "В России любить умеют только мертвых", - сказал Пушкин. Но... Добродетельная мода, неоромантизм, "Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, налейте вина..."

- Решили похоронить на белогвардейском, - продолжает режиссер И. - Кладбище густо заселено мертвецами. Нашли просроченную, неоплаченную могилу некоего белогвардейца Герасимова, давно захороненного. Герасимова вынули. (Куда же его, беднягу?) Вместо него - Тарковского. Игра случая: Герасимов - фамилия, мешавшая Андрею при жизни.

Истинно так. Режиссер Сергей Апполинариевич Герасимов был личность талантливая, но, подобно многим, занимался идеологической коммерцией. А блаженство безумия фильмов Тарковского было ему недоступно, и это его угнетало, раздражало, и, говорят, после премьеры "Рублева" он первый "прошелся по кабинету", сделал жизнь Андрея Тарковского на многие годы неуютной. Тут же поручик или корнет Герасимов дал Андрею приют в своей могиле.

- Начали хоронить, - продолжает режиссер И. - Максимов сказал речь, потом в кладбищенском воздухе прогремело еще несколько речей ("Сто знацит?" и т. д.). Отпевали в церкви. Во время отпевания начался сильный дождь.

Сцена из фильма Тарковского. Помните, ка-

кие чудесные дожди идут в фильмах Тарковского - в "Солярисе", в "Ивановом детстве" и прочих. То светлые, то темные, то грозные, то ласковые, то библейско-христианские, то языческие Перуна. На кладбище Sainte-Genevieve-des-Bois, несмотря на христианское отпевание, дождь был бесовский.

- Пошел дождь, - продолжает И. - Ростропович под зонтиком примостился с виолончелью на паперти церкви играть. Все участники похоронного торжества повернулись к Ростроповичу, встав задом к могиле. Представитель Совэкспортфильма должен был зачитать телеграмму соболезнования председателя Госкино Ермаша.

Напомню, Андрей Тарковский числился тогда перебежчиком, невозвращенцем, предателем родины. На Берлинале, берлинский международный фестиваль, его не пригласили, хотя, будучи стипендиатом берлинского отделения DAAD, где, кстати, и я имел стипендию, он проживал в двадцати минутах ходьбы от фестивального центра.

Признаюсь, я тогда с Андреем не общался. Слабости - кто от них уберется - время от времени ссорили нас, да и окружен он был неприличными людьми, всегда умевшими обратить его слабости себе на пользу.

Тем не менее, узнав, что Андрей Тарковский на Берлинале не приглашен, я с возмущением спросил одного из немецких фестивальных деятелей, тех, кто ныне говорит о Тарковском "Сто знацит?": "А чего же режиссера кино наивысшего масштаба не пригласили даже в качестве гостя?" "Пусть обратится сам, - ответил деятель, - он думает, к нему пойдут кланяться, просить". Не говорю уже о Феллини, какой-нибудь безмозглой красотке, звездочке, святящей отраженным бриллиантовым светом, кланялись. А тут, видите ли, "не обратился сам", "кланяться не хотят".

Особой тайны, разумеется, в этом пренебрежении не было, секрет Полишинеля. Западнберлинские демократы не пригласили невозвращенца, перебежчика Тарковского, чтобы угодить двум советским комитетам: Госкино и КТБ, с которыми, я уверен, этот нравственный терроризм, этот укол в душу, наподобие отравленного зонтика, был согласован. И нынешнее выступление на похоронах представителя Совэкспортфильма, имевшего двойное подчинение, означало прощение и посмертную реабилитацию. "В России любить умеют только мертвых", - еще раз хочется повторить Пушкина.

Чекист Совэкспортфильма должен был зачитать правительственную телеграмму, но поскольку вокруг были враги-эмигранты, диссиденты, антисоветчики, он решил, чтоб телеграмму прочли сестра Андрея Тарковского Марина или ее муж Александр Гордон. Но читать телеграмму было не для кого - к тому вре-

мени все уже разошлись. "Нажрутся кутьи и уходят", - это у Достоевского.

Впрочем, может быть, разошлись в знак протеста против ермашовского приветствия, ибо Ермаш был гонителем Тарковского и душешителем его творческих планов. А, может быть, и усилившийся дождь повлиял. Все разошлись, оставив могилу незарытой. Лариса Павловна Тарковская, жена покойного, тоже ушла. Остались лишь сестра Тарковского Марина, ее муж режиссер Гордон и представитель Совэкспортфильма.

Оставление незарытой могилы подтвердили и Марина Тарковская с Александром Гордоном, бывшие у меня дома. Разница между их рассказом и рассказом И. в незначительных деталях. Да и зачем режиссеру И. неправду говорить о подобном, по сути, безбожном кошунстве. Что есть незарытая могила, да еще под дождем, понятно. У Достоевского сказано: "Заглянул в могилу - ужасно. Вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... Ну да уж что. Поминутно могильщики выкачивали черпаком". Там хоть могильщики старались, а тут и могильщиков не найдешь.

- Пошли искать могильщиков. Могильщики уже окончили работу. "Все, - говорят, - рабочее время кончилось. Слишком долго говорили и музыку играли". "Как же оставить так могилу!" - говорит представитель Совэкспортфильма. "Ничего, - говорят арабы-могильщики, - завтра закопаем". "Но ведь дождь идет", - говорит Марина. "Дайте нам лопаты, - говорит представитель Совэкспортфильма, - мы сами закопаем". "Нате, берите". И вот, сестра Тарковского Марина, ее муж Александр Гордон и представитель Совэкспортфильма закопали Тарковского. Но место было еще не оплачено. Потом уж на собранные деньги купили ему место, однако на памятник не хватило. Дали объявление в газету (наверное, в "Русскую мысль") - собирают деньги на памятник, который должен делать Эрнст Неизвестный. Но так и не собрали пока.

Режиссер И. рассказывал это несколько лет назад. Теперь могила выглядит более-менее прилично. Не памятник, но надгробие, цветы лежат, иконка... Лучше всего было бы перевезти покойного в Россию, да, говорят, вдова не позволяла, могиловладелица, та самая Лариса Павловна, которая в день похорон ушла, оставив могилу незарытой. Держала могилу в Париже. Как говорят, доходное место. Сама проживала то в Париже, то в Италии. Более того, книгу Андрея Тарковского, вышедшую на иностранных языках, по-русски публиковать не разрешила - потребовала за нее очень большие деньги. Все она старалась обмануть жизнь. А ведь жизнь обмануть нельзя. Пусть Бог ее простит.

- Могила залита бетоном, - говорит режиссер И., - закрепили Андрея Тарковского в земле, чтоб не выпрели.

Возмущение я разделяю, но, я думаю, вообще памятника Андрею не надо. “Оставьте только зелень”, - последние слова Жорж Санд. То есть травку. А тут покойного придавили бетоном.

Естественно, при наличии отсутствия прежних выездных законов началось паломничество отечественных почитателей к забетонированной могиле. Приехали в Париж пожилой режиссер А. С. и молодой режиссер А. С. Пожилой режиссер позвонил режиссеру И., постоянно проживавшему в Париже, и, среди прочего, спросил:

- Сколько стоит букет цветов?
- Самый дешевый - 10 франков, - ответил И.
- Это еще терпимо, - говорит пожилой А. С., - а обувь? Я хочу купить.
- Купи в магазине английскую - будешь долго носить.
- Сколько стоит?
- Тьсячуфранков.
- Это еще терпимо, - теми же словами говорит режиссер А. С.

На следующий день условились поехать в русский книжный магазин - им там бесплатно обещали дать книги. Но, когда встретились, то объявили, что сначала хотят поехать в иное место. Куда? На кладбище.

Пожилой А. С. купил дешевый букет ромашек, а потом по дороге бутылку водки. Приезжают. Режиссер И. показал могилу. Молодой А. С., юродственно скособоченный, пал на колени перед плитой бетонной, потом достал из мешочка землицы подмосковной и начал под бетон пихать. Режиссер И. откупорил бутылку водки, поставил на могилу. Пожилой А. С. положил закуску. Режиссер И. говорит пожилому А. С.:

- Клади цветы.
- Тот шепчет:
- Нет, это я Бунину купил.
- Ну хоть пару ромашек положи.
- Разлили водку на троих. Один стакан - молодому А. С.:
- Выпей.
- Я не пью
- Ты мусульманин?
- Нет, православный.
- Так хоть немного выпей. По-христиански - должен выпить.
- Нет, не пью.
- Выпили без молодого. Пожилой А. С. говорит:
- Лариса Павловна хочет здесь организовать музей Тарковского.
- Чтобы она была директором, - говорит И.
- Зачем вы так о Ларисе Павловне! - неодобрительно отозвался молодой А. С. - Андрей Арсенич ее в жены выбрал.

Пожилой А. С. говорит:

- Надо бы прах в Москву перевезти. Ведь будет паломничество.
- Лариса Павловна не допустит, - говорит И., - она уже о том заявила.

И пошли смотреть другие могилы кладбища. Видят - следом пожилой А. С. несет бутылку.

- Поставь назад на могилу Тарковского.
- Это так положено? Я не знал.

Пошел пожилой А. С. к могиле Бунина, положил букет, начал там плакать.

- Так это все продолжает жизнь, - говорит (в каком смысле, куда продолжает, непонятно. Но так выразился). - Надо купить домик, где жил Бунин, чтоб советские писатели приезжали сюда и здесь работали. Все-таки перестройка.

Вот такие кладбищенские разговоры. Что-то в них от Достоевского. Интересно, что бы сказал по поводу этих сцен и разговоров сам Андрей Тарковский. Ведь мог бы сказать, если верить Платону Николаевичу, доморощенному философу, естественнику и магистру из рассказа Достоевского “Бобок”, высказывающемуся, как и его собеседники, из могилы: “Он объясняет все это простым фактом, - говорит сосед по кладбищу, также из могилы, - именно тем, что наверху, когда мы еще жили, то счи-

тали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз будто оживает. Остатки жизни содержатся не только в сознании и продолжают еще месяца два или три, иногда даже полгода”. Иван Иванович, прогуливавшийся по кладбищу, разговоры покойных слышал: “Слышу звуки глухие, как будто рты закрыты подушками, и при том внятные и очень близкие”.

Однако, на Тарковском не подушка - бетон. Может быть, тех, кто заливал могилу бетоном, особенно беспокоило, чтобы покойный с того света не сказал о них лишнего. Да и о паломниках нечто язвительное добавил. Ведь смешны и грустны эти кладбищенские диалоги. После кладбища поехали паломники в русский книжный магазин, набрали религиозной литературы, Солженищина. Пожилой режиссер А. С. большой, можно даже сказать, неистовый поклонник Солженищина.

Помню, как-то на Мосфильме в частном разговоре пробовал я о сочинении Солженищина “Красное колесо” критически высказываться. Как он взбеленился! Перед гением Солженищина, мол, надо преклониться, сокровища создает. А я, мол, Горенштейн, ему и в подметки не гожусь или в стельки, уж, не помню точно. Точно не помню, но запомнил, ибо имею злую острую память. Однако, при братании советских с эмигрантами в начале горбачевщины он сделал вид, будто не помнит. И я так же поступил. Один раз даже ко мне домой заходил - такова тогда была неразумная эйфория всепрощения.

Прощать, конечно, можно и нужно, но смотря что и смотря кому. Кому, иной раз даже важнее, чем, за что. Одному и крупную несправедливость простить можно, а другому и мелкую пакость нельзя простить. Потому что всякий может совершить подлый поступок. А кто того не совершал, пусть “первый бросит в меня камень”. Иной раз подлый поступок не от подлости, а от страсти или от близорукости. В том или ином - от слепоты любовной или злой. Но как отличить человека, совершающего подлые поступки, не будучи подлецом, от истинного подлеца? Тут главное отличие в корысти. По-моему, настоящий подлец - тот, кто бескорыстной подлости никогда не делает. Потому, может быть, излишне я к пожилому А. С. строг - говорил от слепоты любовной к Солженищину, “великому писателю земли русской”.

Иное дело - могилу бетоном залить для закрепления дохода. Или Шатров. Тот никогда себе во вред подлости не сделает, бескорыстно никогда не наподличает. Слышал я, Шатров ныне пошел в коммерсанты, используя прежние большевистские партийные связи, которые и ныне в свободной России на вес платины. Связи имел в парткругах сильные, вплоть, говорят, до Примакова. Они чем-то с Шатровым похожи даже внешне, а внутренне - безусловно. Начинали примерно в одно и то же время, в шестидесятые, но только Примаков стартовал с постоянной антисионистской колонки в “Правде”, Шатров - с большевистских спектаклей в “Современнике”. Оба каких высот достигли в “свободной России”? Примаков - министр иностранных дел, Шатров - миллионер-коммерсант.

Примаков с Арбатовым, консультантом Брежнева по американским делам, приходили на мой спектакль о Петре Первом в театр Вахтангова в 1991 году. “Не понравилось”. Думаю, художественность тут ни при чем. Политического функционера не художественность интересует в первую очередь, а идеология и политика.

Разумеется, без политики в художественности не обойтись. Иные сторонники “искусства для искусства” говорят, что писатель не должен заниматься политикой. Да, политическим функционером писатель становиться не должен - отнимает энергию художественную. Но в художественном творчестве как без политики? Ведь политика влияет на судьбы людские, а судьбы людские - главный предмет писательского внимания. Разве Достоевский, Толстой, Золя, Стендаль не занимались политикой? А Данте, а Шекспир? Даже доктор Чехов, терапевт сердца и души человеческой, даже живописец Бунин. Другое дело - каковы политические вкусы и пристрастия. Примакову с Арбатовым мои политические вкусы не понравились,

но запретить их не могут. Такова цена демократии. Каждый использует демократию на свой манер.

Слышал я, Шатров по-своему использовал демократию: получил участок земли, обещая построить там культурный центр. А построил доходный отель с рестораном. Ульянов-Ленин, первоисточник шатровских капиталов, наподобие нефти арабских шейхов, писал в своей статье 1905 года "Партийная организация и партийная литература": "Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания". Интересно, как бы Ильич прокомментировал из своего мавзолейного саркофага шатровский денежный мешок, накопленный партийной литературой, если бы, разумеется, согласно Платону Николаевичу, покойнику-философу, Ильич мог заговорить. Впрочем, вряд ли. Слишком уж давний покойник, точнее, даже не покойник, а мумия. Может быть, благодаря сохранению мумиеобразного облика усилиями целого научного подмавзолейного института, бормочет Ильич изредка: "Бобок, бобок". Но и то, услышать его может какой-нибудь Иван Иванович, забредший в Мавзолей во хмелю.

Не поучительно ли? Если Ленин, фигура все-таки всемирная, заканчивает бессмысленностями "бобок-бобок-бобок", и вслед за ним его поклонники, идеологически опьяненные, повторяют бессмысленность "бобок-бобок", то что говорить о Шатрове, корыстолюбце все-таки локальном. (Справедливости ради, надо сказать, Ленин, в отличие от Шатрова, корыстолюбия материального не имел. Но ведь и дьяволу, отцу мира материального, лично для себя ничего не надо, кроме рогов и копыт. Сам он, дьявол, - бессеребренник, а серебро и золото использует как наживку на удилнице для ловли.)

Однако, в данном случае речь не о крупных, а о мелких, совсем уж нищих, если иметь в виду не капитал, а нечто иное. Ну, положат на привилегированном кладбище под дорогим памятником, на который, в отличие от несостоявшегося памятника Тарковскому, по миру шапку не понесут. Ну, может быть, выскажется, подобно лавочнику-покойнику: "А лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтоб за могилку нашу по третьему разряду внести..." Так поговорят с месяц-другой. Есть, например, здесь один такой, который совсем разложился, но раз в неделю, в шесть он все-таки еще вдруг пробормочет одно слово: "бобок, бобок".

Вот так завершится - словом "бобок", замолкнет навеки. И о нем замолкнут. Может быть, напишут некрологи и подпишутся шестидесятники-прогрессисты, кто еще сможет подписаться, да к тому же не постесняется, не постыдится. "Некто", как я назвал его в своем памфлете, - Виталий Вульф, тот самый, который хотел меня вызвать на дуэль за непочтительные высказывания в "Мишин" адрес, сделанные в интервью петербургской газете "Смена", выскажется: "Сто значит?" и т. д. Иося-мясник, местечковый богач, кантору Пейсе материальную похоронную нищету оплатить хотел. А Виталий Вульф моральную похоронную нищету "Миши" (Шатрова) оплатить возьмется. Но не сможет, слишком уж сумма велика, да и сам не Бог весть, какой богач, кредита не хватит.

Так что, останется Миша в конце - с "бобком", последнее имущество покойного - "бобок". И навек умолкнет. Так по Достоевскому. Разве что, такие, как я, напомнят о нем как о памфлетном персонаже. "Кому он при жизни люб был, те его забыли, а кому зло сделал - те его помнят". Так у Чехова в рассказе "На кладбище".

Но ведь сам-то Чехов не замолк. И Достоевский не замолк. И Иван Бунин. И Андрей Тарковский, хоть и без памятника, бетоном залитый, чтоб слышно не было, не замолкнет. И я, признаюсь, надеюсь не замолкнуть.

Великий писатель русской земли (я имею в виду Льва Николаевича Толстого) страдал оттого, что, по христианской мысли, лишь душа бессмертна, а тело бrenно. Эта трагедия и была в основе толстовской художественности. Истинно - в таинстве смерти главная трагедия жизни. А един-

ственное утешение - светлые воспоминания и сны, светлые или смешные. Одним таким светлым воспоминанием хотел бы закончить мои кладбищенские размышления.

4

Чудесный осенний день, осень семидесятого. Московско-петербургские весны очень плохи, фактически, весны, как правило, нет. Нет постоянной демисезонной весенней температуры шесть - десять градусов, в марте еще зима с выходом на низкие минусовые и нуль, апрель - весь в нуле и низких минусовых с переходом на низкие плюсовые. От нуля сразу идет на восемнадцать - двадцать (теперь в Европе, в связи с изменением климата, и того хуже). Иное дело - осень. Осень в России, в Москве и Петербурге, бывает хороша, оттого и пушкинская любовь к осени, не случайны и болдинская осень, и бунинская осенняя живопись, и тютчевская.

Так вот, осенний день семидесятого, воскресенье. Тихо и пусто в Москве, кто на своих дачах, кто просто за городом в Подмосковье. В такой тихий несуетливый день договорились мы с Андреем Тарковским встретиться, чтобы обсудить предварительно работу по сценарию фильма "Солярис".

Встретились в ресторане "Якорь", был такой небольшой рыбный ресторан на улице Горького, недалеко от Белорусского вокзала. По-моему, он и ныне существует, но какие там коммерческие структуры властвуют, и не подают ли там лишь норвежскую треску и канадскую семгу? Тогда же, в начале семидесятых, еще не успела брежневщина высосать из страны последние соки на ракетно-военные надобности, еще полны были если не магазины, то колхозные рынки, и в ресторанах еще хорошо кормили, пороссийски. В "Якоре" еще можно было заказать сравнительно недорого и печеного леща, и судака, запеченного с картофелем, и щуку, сома или налима с грибами, и карася, фаршированного кашей, с мочеными яблоками.

Встретились в "Якоре" мы втроем: я, моя бывшая жена - молдаванка, актриса и певица цыганского театра "Ромэн" Марика, и Андрей. Не помню подробностей разговора, да и не они важны, но, мне кажется, этот светлый осенний золотой день, весь этот мир и покой вокруг, и вкусная рыбная еда, и легкое золотисто-соломенного цвета молдавское вино, все это легло в основу если не эпических мыслей, то лирических чувств фильма "Солярис". Впрочем, и мыслей тоже. Марика как раз тогда читала "Дон Кихота" и затеяла, по своему обыкновению, наивно-крестьянский разговор "Дон Кихоте". И это послужило толчком для использования донкихотовского человеческого беззащитного величия в противостоянии безжалостному космосу Соляриса.

Потом, по предложению Андрея, мы переехали в "Националь", ресторан мной не любимый из-за царящего там бомонда, к которому, к сожалению, Андрей примыкал, посяживая там в житейской суете. Впрочем, в тот светлый день ресторан "Националь" был полупустой, а кормили там, конечно, хорошо, хотя, разумеется, подороже, чем в "Якоре". Особенно же славился ресторан грузинскими винами: красным, точнее, темно-гранатовым Мукузани и белым Цинандали. В "Национале" я вдруг встретил своего друга детства, которого не видел много лет, и который ныне служил в Кушке на границе, был в Москве проездом и зашел в ресторан пообедать. Сидели мы уже вчетвером, эти люди из совершенно разных концов моей жизни сошлись вместе весьма гармонично, хоть больше никогда не сходились. И эти чувства, светлые минуты бrenной жизни вошли в "Солярис".

"Солярис" начинался в покое и отдыхе. Околокиношная суета, к сожалению, явилась, но потом. "Утонченные умники" внушали Андрею, что "Солярис" - неудачный его фильм, чуть ли не коммерческий, а не элитарный, потому что слишком ясен сюжет и ясны идеалы. Поживем - увидим, господа "элитарные", "утонченные". Впрочем, уже и теперь видно. Что такое "Солярис"? Разве это не летающее в космосе человеческое кладбище, где все мертвы, и все живы? Эта-

кий “Бобок” Достоевского. Но воплощение не только психологическое, а и визуальное.

Из всех человеческих творений кладбище наиболее близко природе. Это ощущается у Жуковского. Читая Жуковского, как бы приходишь на кладбище. Кладбище, подобное лесу, реке, полю. Ты весь в тиши, весь вне жизни: “Как коротка и бесплодна жизнь”, - это уж кладбищенские размышления Бунина в ограде старого сельского погоста из его повести “Деревня”. “На одном кресте Тихон Ильич прочел: Какие страшные оброки жизнь собирает от людей!” Но ничего страшного вокруг не было, он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет... На железном, радужном от непогоды и времени памятнике какого-то коллежского ассессора можно было разобрать стихи: “Царю он честно послужил, Сердечно ближнего любил, Был уважаем от людей...” Стихи эти показались Тихону Ильичу живыми. Но где правда?”

Да, где правда? Где правда наших взаимоотношений, живых с мертвыми? Если о мертвых молчат, они как бы исчезают. А если говорить только доброе, то не кощунственна ли такая ложь? Особенно же кощунственно, если о мертвых говорят задним числом: “Сто значит?” И о живых задним числом говорить доброе кощунственно. Дурное о человеке всякий сказать может: немножко бесчестия, немножко досады, немножко моральной неяршливости - вот и достаточно. Однако, по-моему, чтобы доброе о человеке сказать - надо право иметь. Особенно о мертвом, да и о живом тоже.

Гоголь писал в “Выбранных местах из переписки с друзьями”: “Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними, иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят”. По-моему, самые высокие истины в таинстве смерти, в таинстве жизни, а соединены они могут быть лишь таинством сна. У меня привычка есть - наиболее интересные сны, которые я запомнил, записывать в блокнот среди прочего. У меня много таких снов записано.

Расскажу в заключение один из таких таинственных снов 1979-го года. Анна Самойловна Берзер... Поясню, та самая Анна Самойловна Берзер, редактор отдела прозы “Нового мира”, которая через головы членов редколлегии дала прямо Твардовскому рукопись неизвестного рязанского учителя Солженицына. “Я была уверена - Твардовскому понравится, - сказала она мне, - а вашу рукопись “Зима 53-го года” я дать не могла, не была уверена, понравится ли”. (Твардовскому она не понравилась.) Самойловне рукопись нравилась, но некоторое время спустя она сказала, что разочаровалась во мне. Я критически отозвался о художественности сочинений Андрея Синявского, а Андрей Синявский был тогда для интеллигенции святым: жертва нашумевшего процесса.

Прошло еще некоторое время, и при случайной встрече (я не встречаюсь с теми, кто во мне разочаровался) Анна Самойловна Берзер заявила, что должна извиниться передо мной: относительно Андрея Синявского я был прав - “отвратительная личность”. (Я не о личности говорил.) Андрей Синявский в то время уже был в Париже, где купил дом, преподавал в Сорбонне и писал критические статьи в издаваемом им журнале “Синтаксис” об идеях Солженицына.

Лет пятнадцать спустя, вновь приехав в Москву после долгого перерыва, я из-за занятости не позвонил Анне Самойловне и потом мне сказали, что она очень обижается, почему не позвонил и не встретился. Да, это моя вина, которой я не искуплю, поскольку вскоре Анна Самойловна умерла. А высказываться в духе “Сто значит?” не хочу.

Так вот, в записанном мной сне 1979 года Анна Самойловна Берзер говорит мне: “С вами хочет побеседовать по поводу “Метрополя” (это альманах, в котором я участвовал) специалист по сельской разведке”. Меня, к слову сказать, не критиковали в отличие от участвовавшей в “Метрополе” элиты, за которую “боролись” (как выражались), критикуя ее. Меня игнорировали и замалчивали. Ну, думаю, наконец, и меня вызвали, то есть предали гласности. Прихожу к специалисту по сельской разведке, а это - пудель, кажется даже, чер-

ный, фаустовский. Причем, занят - ругается с кошкой. Та на него шипит, он на нее лает. Говорю:

-Я Горенштейн.

- Очень хорошо, - отвечает пудель, - подождите.

И продолжает с кошкой ругаться. Я ждал-ждал - надоело. Я ушел.

Что означает этот роковой сон накануне выезда, понял уже в эмиграции. Гробовая тишина, живое захоронение, никакой сказки, никакой биографии не дала мне советская власть при расчете, хоть все у меня отняла. “Какую биографию делают парню!” - сказала Анна Андреевна Ахматова по поводу судебного процесса над Бродским.

Это те сказки, красивые биографии, которые на Западе вознаграждаются недвижимым имуществом, богатыми престижными премиями и прочим подобным. А талант? Талант без красивых биографий для западных функционеров неинтересен. Мало ли их, талантов!

Борис Леонидович Пастернак получил Нобелевскую премию не за свою великую поэзию, а за свою посредственную прозу, скандально опубликованную в Италии издателем Фельтринелли. Когда в 1933 году было принято решение дать Нобелевскую премию какому-нибудь русскому антисоветскому писателю, выбор пал на Ивана Шмелева, православно-кликушеского сочинителя, впоследствии нациста, образовавшего вместе с Зинаидой Гиппиус, ее мужем Мережковским, шахматным чемпионом Алехиным и прочими субъектами русский национал-социалистический союз.

Иван Бунин получил Нобелевскую премию не потому, что он классик, а потому, что советские пропагандистские функционеры по совету Горького тайно наметнули: советские возражения против кандидатуры Бунина будут не так остры.

Таковы таинства сна, таинства смерти и жизни.

- Папа, - спросил меня мой сын Дания в пятилетнем возрасте, - когда мы станем скелетами, мы сможем, - подумал, - сделать вот так? - и взялся за спинку дивана.

Не помню, что я ему ответил. Да и что ответишь? Ведь этот же вопрос мучил при жизни Льва Николаевича Толстого. Могу лишь сказать: пока мы живем, жизнь идет дальше, “через могилы - вперед”, - как сказал Гете. “Мертвые воскресают усилиями живых”, - так у Гомера.



Надежда Брагинская

Рукою Пушкина...

Девятого июня 1817 года в Царском Селе в Лицее состоялся первый выпуск, который принято называть “пушкинским”. Двадцать девять юношей спели “Прощальную песнь воспитанников Царскосельского Лицея”, написанную Антоном Дельвигом и положенную на музыку учителем пения Теппером де Фергюсоном.

Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!

Жизненные пути выпускников определились их лицейскими успехами и в какой-то степени личными пристрастиями.

“Первый”, “бесценный” друг поэта Иван Пущин получил похвальный лист номер один “с правом на серебряную медаль” и вступил в лейбгвардию конной артиллерии. Нежно любимый Пушкиным Антон Дельвиг окончил Лицей с чином коллежского секретаря, то есть чиновника 10-го класса, и был определен в департамент горных и соляных дел (петровская “Табель о рангах” включала в себя 14 рангов, или классов). Друг поэта Вольховский получил первую (Большую) золотую медаль и был направлен в чине прапорщика в гвардию. С чином титулярного советника (9-й класс) начали службу в Министерстве иностранных дел А. Горчаков, С. Ломоносов, П. Гревениц, В. Кюхельбекер. А. Пушкин и П. Юдин поступили на службу туда же, но в чине коллежского секретаря (10-й класс).

Сотрудники Архива Министерства иностранных дел России в 19-м - начале 20-го века выявили многие документы о службе там Пушкина, лицейстов и других лиц пушкинского окружения.

В советское время пушкинские материалы из бывших архивов царского Министерства иностранных дел были переданы на постоянное хранение в музей А. С. Пушкина в Ленинграде. Однако сотрудники Архива не прекращали сбора материалов об А. С. Пушкине. За последние годы в его фондах были обнаружены ранее неизвестные автографы Пушкина. Это документы административного и финансового характера.

Чиновники МИД России обязаны были при вступлении в должность расписаться под текстом указа Екатерины II от 4 августа 1791 года “О запрещении чи-

*Портрет Антониуи Франки Авентини
Первый классический 1817 год 2 июля 1817
Читатель 10-го класса Александр Пушкин
1817 года 15 июня 1817
Читатель Губернского Секретаря Барна
Томасовича Карамзинова сына Дмитрия*

новникам КИД (тогда Коллегии иностранных дел. - Н.Б.) иметь сношения с представителями других держав, бывать в их домах, а также разглашать служебные тайны”. Этот указ был своего рода возобновлением “повеления” Екатерины II от 17 марта 1781 года о запрещении чиновникам Министерства иностранных дел иметь знакомство “с иностранными представителями в России, ездить в дома чужестранных министров, иначе как в случае посылки кого-либо по службе <...>”. Чиновники, вновь поступавшие на службу в министерство, должны были ставить подпись под этими обоими документами в знак того, что они ознакомились с текстом. Так как Пушкин вступал в службу дважды, он и подписывался два раза. Ранее уже были известны два пушкинских автографа, сейчас обнаружены еще два. Вот автограф-подпись: “Читал 10-го класса Александр Пушкин. 1817 года, июня 15-го”. Тут же подписи С. Ломоносова, П. Гревеница, П. Юдина (иллюстрация 1).

В какой же должности служил Пушкин в МИД, каким конкретно было место его службы? По спискам чиновников и расходным книгам министерства это не совсем ясно. Но вот ответ: “Судя по новейшим исследованиям, Пушкин... числился литератором при редакции официоза МИД России - газете на французском языке “Беспристрастный консерватор” (С. Турилова). Вспоминается лицейское прозвище Пушкина “француз”...

В расходных книгах МИД за 1817-1819 годы обнаружены восемь “финансовых” документов - ранее неизвестных подлинных расписок поэта в получении жалованья и отпускных.

После выпуска из Лицея Пушкин, не приступая к службе,

иллюстрация 2

	таб. нр.	рубл.	коп.
<i>Транспортъ</i>	6305	4181383.	93 1/2
<i>Александр Пушкину, изъ 700² Окладъ то 8² июля, под день увольнения его в Отпуска, съ 10² июля, по разсчету.</i>	—	53.	90.
<i>Сумма, въ томъ числѣ три рублѣ двѣдцать копѣекъ по указу Секретаря Александра Пушкина</i>			

сразу берет отпуск для поездки в Михайловское с 10 июня до 8 июля 1817 года. Вот автограф-расписка А. С. Пушкина (1817 г.) в получении месячных отпускных в сумме 53 р. 90 коп. (иллюстрация 2).

Александр Пушкину. в отпуску три месяца
с 10 июня до 8 июля 1817 года.
Получил от Александра Пушкина

иллюстрация 3

А за треть года жалованье коллежского секретаря Пушкина, так же, впрочем, как и П. Юдина, составляло 231 рубль из расчета годового оклада - 700 рублей. Вот автограф-расписка Пушкина в получении "третьего жалованья", здесь же - роспись П. Юдина (иллюстрация 3).

Петербургский период службы в МИД завершился для Пушкина в начале мая 1820 года. А с мая 1820 года начинается период так называемой "южной" ссылки поэта. Ссылки, по существу, неофициальной, так как Пушкин продолжал числиться по-прежнему в министерстве, но уже как "откомандированный" к дипломатической канцелярии генерала Инзова. 6 мая 1820 года он выехал из столицы на юг. Перед отъездом поэт одалживает в счет зарплаты деньги у И. Алексеевского, оставляя ему своеобразную доверенность - "доношение". Вот автограф: "Следующее мне за минувшую генварскую треть жалованье покорнейше прошу оную коллегию выдать титулярному советнику Иосифу Алексеевскому, которую сумму я от оногo получил сполна. Мая 5-го дня 1820-го года. Коллежский секретарь Александр Пушкин" (иллюстрация 4). Пребывание Пушкина на юге завершилось в 1824 году ссылкой, на этот раз уже официальной. Поводом для нее стало перлюстрированное московской полицией письмо А. С. Пушкина, в котором он писал, что берет "уроки чистого афеизма" (атеизма). Последовал приказ: Пушкина "исключить из списка чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение". Поэт был сослан в имение родителей, в село Михайловское.

Только в конце 1831 года император повелел снова при-

нять его "в службу". И на этот раз, уже повторно, Пушкин расписывается под известным "повелением" Екатерины II. По-видимому, это произошло в самом начале 1832 года. Пушкин в подписи указал свой новый чин, чиновника 9-го

класса - титулярного советника, который он получил в декабре 1831 года. Вот автограф-подпись, сделанная в какой-то из дней до 5 февраля 1832 года: "Читал титулярный советник Пушкин. 1832" (иллюстрация 5).

Только в 32 года Пушкин получил чин, который имели многие его соученики сразу по окончании Лицея. Сегодня, с

№661 - 5^{го} Мая 1820.

В Государственный Кассовый Департамент
сего числа.

От Иосифа Алексеевского
Доношение.

Следующее мне за минувшую генварскую
третью сумму в 53 р. 90 коп. по прошению
Иосифа Алексеевского выдать титулярному
советнику Иосифу Алексеевскому, которую
сумму я от него получил сполна.
Мая 5-го дня 1820-го года.

Коллежский секретарь Александр
Пушкин

иллюстрация 4

волнением вглядываясь в летучие строки пушкинских автографов, невольно вспоминаешь слова Пушкина о Вольтере:

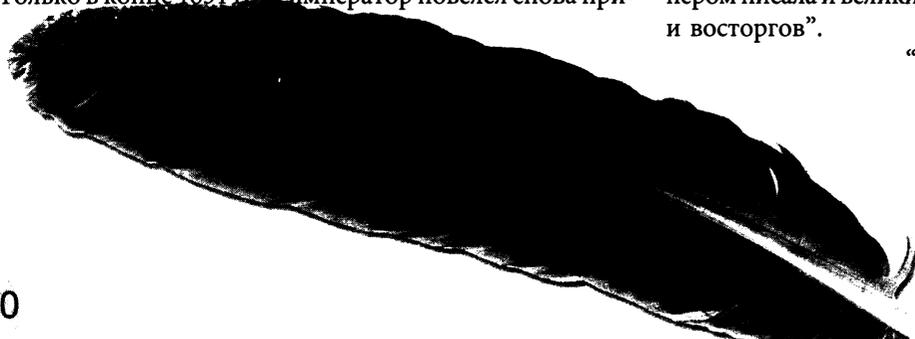
"Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из рас-

Читал Иосифу Алексеевскому
сумму в 53 р. 90 коп. по прошению
Иосифа Алексеевского.
Мая 5-го дня 1820-го года.

иллюстрация 5

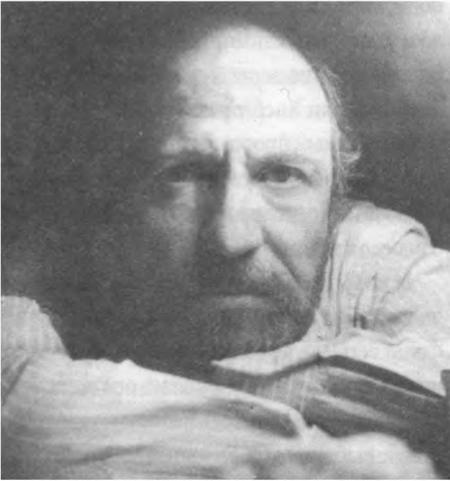
ходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначущие слова, тем самым пером писала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов".

"Новое Русское Слово", Нью-Йорк 1997.



Юрий Дружников

ТАЙНА ПОГОСТА В РУЧЬЯХ



Русский писатель и американский профессор заподозрил нечто неладное с захоронением великого поэта Велимира Хлебникова. Вот результаты расследования.

Коротко об авторе

Юрий Дружников - профессор Калифорнийского университета, вице-президент Американского ПЕН-клуба, академик Санкт-Петербургской академии гуманитарных наук. Живет в Соединенных Штатах.

Прозаик и историк русской литературы Юрий Ильич Дружников родился в Москве. Был членом Союза писателей СССР, исключен за антисоветскую деятельность. Пятнадцать лет был на родине в черных списках, преследовался КГБ, эмигрировал.

Дружников - автор многих книг, среди которых роман-хроника "Ангелы на кончике иглы" о тайных аспектах жизни московских газетчиков, необычная книга русской прозы "Микророманы", две монографии о замалчиваемых аспектах биографии Пушкина ("Узник России"). Недавно в Америке вышли по-русски: книга воспоминаний и эссе "Я родился в очереди" и книга о трагедии отечественной литературы "Русские мифы".

Поездка была рискованная. Я хотел проверить одно свое предположение, связанное со смертью Велимира Хлебникова. Из Петербурга мы выехали ни свет ни заря. Поселок Крестцы на реке Холова часах в двух от Новгорода по направлению на Валдай и Вышний Волочек. Крестцы не лучше и не хуже множества таких же старых российских поселений, болота, комары да несколько хрущоб, но место известное по крестецкой белострочной вышивке, существующей там полтора столетия.

Куда деваться чужому человеку в Крестцах, когда на носу ночь? Хорошо, что нашелся местный краевед, бывший учитель из ремесленного училища, Павел Ильич Гурчонок, который вызвался помочь и даже проводить, но, конечно, не на ночь глядя. Нас с женой приютили, баньку затопили и накормили чем Бог послал. Утром поедem: дорога только частью асфальт, но сейчас, в августе, сухо.

Начало его конца

Смерть витала и над Хлебниковым. Война и революция оставили его в живых, но ненадолго. Думаю, такой человек, как он, в подобных условиях теоретически не мог долго прожить. Дед Хлебникова умер в Иерусалиме, дядя эмигрировал в Новую Зеландию. Генетическая тяга к дороге была у него, как у Пушкина. Социальная буря закрутила его: казармы, баржи, психушки, товарняк, госпитали. Он метался, объявляясь то в Петербурге, то в Москве, то в Баку, то в Астрахани, то в Харькове. Хулиганил: звонил в Зимний дворец и материл Керенского. "Человеком вне быта" назвал Хлебникова его биограф.

В 1918 году Хлебников с поэтом Дмитрием Петровским сочинили "Декларацию творцов", с которой обратились в Совнарком, заявляя, что "все творцы: поэты, художники, изобретатели должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железным дорогам и выезд за пределы Республики во все государства мира. Поэты должны бродить и петь". Тогда за мечты еще не сажали. А в реальности Хлебников видит и опи-

сывает покойницкую, в которую свозят трупы погибших во время революционной заварухи в Москве. "Первая заглавная буква новых дней свободы, - пишет он, - так часто пишется чернилами смерти". От этой его мысли и сегодня поживаешься.

Из голодной Москвы он метнулся в Харьков, где жил его приятель Григорий Петников и семейство Синяковых. Хлебников уже послужил в армии красной, которая вошла в Персию, пытаясь сделать там революцию. Числясь при охране штаба, лежал он целые дни на берегу моря да купался. А потом и вовсе отстал от отряда; догнал его через месяц в Баку, когда красные уже удрали восвояси. Из Персии, вспоминал Маяковский, Хлебников вернулся "в вагоне эпилептиков, надорванный и ободраный, в одном больничном халате".

В город вошли белые, пошел набор в их армии. Перед тем, как забрать Хлебникова в солдаты, его направили в психиатрическую больницу. Из нее он пишет Петникову: "Пользуйтесь редким случаем и пришлите конверты, бумагу, курение, и хлеба, и картофель". А через полгода сообщал О. М. Брику: "Вобщем, в лазаретах, спасаясь от воинской повинности белых и болея тифом, я пролежал 4 месяца! Ужас!"

Рита Райт вспоминала, как увидела неприкаянного, оборванного, всегда голодного поэта и как они с подружкой из ненужных парусиновых занавесок сшили ему брюки. Он был обрит после двух сыпных тифов. В апреле 20-го Есенин и Мариенгоф приехали в Харьков выступать и согласились совершить на сцене ритуал посвящения Хлебникова в председатели земного шара. Лишь к концу этого обряда босой Хлебников, на которого напялили шутовскую белую рясу, понял, что коллеги устроили балаган на потеху публике. А он-то полагал, что это серьезно, и ужасно расстроился.

Жил он один, в полутемной комнате, куда влезали через разрушенную террасу. В комнате матрас без простыней и подушка, "наволочка служила сейфом для рукописей и, вероятно, была единственной собственностью Хлебникова". Маяковский в некрологе скажет: "Практически Хлебников - неорганизованнейший человек. Сам за свою жизнь он не

напечатал ни строчки”. В конце декабря 21-го Хлебников вернулся в Москву, жил в студенческом общежитии ВХУТЕМАСа. Весной 22-го прошли два вечера в Клубе Всероссийского союза поэтов с его участием. Он пытается опубликовать свои мысли, но в редакциях наскоро написанные обрывки бумаги, которые он выгаскивал из-за пазухи, не рассматривали всерьез. Его все чаще принимали за “чайника”.

Сохранились последние письма Хлебникова, в которых он, хотя и полный творческих планов, похоже, уже отрывается от грешной земной жизни. “Я добился обещанного переворота в понимании времени, захватывающего область нескольких наук...” Это из письма В. Э. Мейерхольду.

Об открытом им “основном законе времени, в котором происходят отрицательные и положительные сдвиги через определенное число дней”, сообщает он 14 марта 1922 года своему приятелю художнику Петру Митуричу: “Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством”. И чуть ниже в том же письме распоряжение: “Мысленно носите на руке приделанные ремешком часы человечества моей работы и дайте мне крылья вашей работы, мне уже надоела тяжелая поступь моего настоящего”. Он живет жизнью голодной бродячей собаки, и настоящее ему надоело. До смерти ему остается 106 дней.

Но матери он пишет просветленно и реалистично: “Я по-прежнему в Москве готовлю книгу, не знаю выйдет (ли) она в свет; как только будет напечатана я поеду через Астрахань на Каспий; может быть все будет иначе, но так мечтается”. Далее следует блистательное, будто сегодня увиденное, описание города: “Москву не узнать, она точно переболела тяжелой болезнью, теперь в ней нет ни “Замоскворечья”, ни чаев и самоваров и рыхлости и сдобности прежних времен! Она точно переболела “мировой лихорадкой” и люди по торопливой походке, шагам, лицам напоминают города Нового света”. О своем бытие Хлебников сообщает матери грустно: “Мне живется так себе, но в общем я сыт-обут, хотя нигде не служу. Моя книга - мое главное дело, но она застряла на первом листе и дальше не двигается. О мне были статьи в “Революции и Печати”, “Красной Нови”, “Началах”. Якобсон выпустил исследование о мне... Около Рождества средним состоянием делового москвича считалось 30-40 миллиардов: свадьба 4 миллиарда. Теперь все в 10 раз дороже, 2 мил-

лиона стоит довоенный рубль, на автомобиле 5 миллионов в час”.

Что же все-таки происходило с Хлебниковым? Его знали и ценили, но в последние месяцы от него отошли: одни потеряли интерес, другие испугались городского сумасшедшего, каким он казался, стал, а может, и был всегда. Он хронически голодал, его мучили приступы малярии. Из немногих верным ему до конца остался Петр Митурич. Он переписывался с Хлебниковым до этого. Обсуждали летательный аппарат “крылья”. Одно время бездомный Хлебников у Митурича жил. От голодной городской жизни Митурич отправил семью в деревню в Новгородской губернии: жена его Наталья Константиновна, нашла там место учительницы, с ней были сын и дочь.

Момент важный, потому что Митурич был на грани развода с женой и второго брака - с сестрой Хлебникова Верой. Вера Владимировна тоже была художницей, училась два года в Париже, где ее застала мировая война. В 1916-ом она добралась через Италию в Астрахань к матери, а после с матерью переехала в Москву. Уже после смерти брата она вышла замуж за Митурича, который оставил первую жену, и родила ему сына. С Маем Петровичем Митуричем мы пообщаемся.

Хлебников, изнеможенный от тяжести быта, в мае 1922 года собрался к родне в Астрахань - отдохнуть и полечиться. Денег на дорогу у него не было. Митурич сумел по блату через родственников оформить ему командировку на какую-то революционно-пропагандистскую работу с бесплатным проездом по Волге. До отъезда оставалось две недели. Решили отправиться на это время в деревню. Хлебников тащил две тяжелых, набитых рукописями, наволочки. Бродяга, привыкший ночевать на железнодорожных вокзалах, двигался к своей последней станции на этой планете.

Как он умирал

От железнодорожной станции Боровенка шли они километров сорок по весенней распутице лесами и болотами, съедаемые комарами и увязая по колено в грязи, до деревни Санталово. Устроились в школе - большой крестьянской избе, точнее в ее половине, предназначенной для учительницы - жены Митурича с детьми. Приехал сюда Хлебников не на дачу, а, как и сейчас опять делают горожане, чтобы спастись от голода, внял советам поддержать тающие силы на свежем воздухе и молоке. Оставалось ему жить сорок три дня. Погода настала теплая и солнечная, Хлебникову сделалось лучше.

“Велимир чувствовал себя хорошо, - записал Митурич. - Жаловался один или два раза на оз-

нобы, но пароксизмы скоро проходили... Ностальго заметно, что Велимир больше держится около дома, больше сидит за столом и пишет”. Последние стихи Хлебникова полны отчаяния: непризнанный пророк, оторванный от реальности, никому не нужный в “диком скачке напролом”, как он назвал революцию, видит свою близкую кончину.

И вот мы в Санталове - всего километров двадцать от Крестцов, даже плохонький асфальт есть, но деревни Санталово практически не существует. Разбежалась она еще в коллективизацию, осталось несколько дворов. В школе выбили окна. Евдокия Лукинична Степанова в 22-м была уже замужем. Она на похоронах Хлебникова не присутствовала: у нее самой в тот момент маленькая дочка умерла, но знала гостя и помнит. Муж ее Алексей помогал копать могилу. Сын, тоже Алексей, был тут одно время председателем колхоза. Давно бы уже уничтожили тут и церковь и все памятные места, да остерегался он матери.

- Всю деревню разграбили, пожгли, - вспоминает Степанова. - Какой хлеб у нас тогда был! А сейчас? Мужа у меня ножом пырнули в 27-м, и я осталась с двумя детьми. В коллективизацию лошадь у меня забрали, и она в колхозе сдохла.

“Лежит деревенька на горке, а в ней хлеба ни корки”. Но это уже не Степанова, а Даль. Прочитал я в книге у московского критика Михаила Лобанова, побывавшего тут в конце семидесятых, что увидел он в окне школы скамью, подпирающую потолок, чтобы не рухнул.

- Подсочинил с три короба Лобанов, - заметил наш провожатый Гурчонок. - Про мемориальную надпись на стене в школе, что здесь умер Хлебников. Описал баньку, которой уже давно не было, имена перепутал. Мы стояли возле места, где была школа: ее давно растащили на дрова, часть фундамента и яма остались. И еще углубление на пригорке от бывшей баньки - в мусоре и сорной траве по пояс.

Хлебников подарил Степановым рукописную книгу, но где она, Евдокия Лукинична не помнит.

- Прожил он в деревне дней пятнадцать, - вспоминает Степанова. - Я его стеснялась. Был он желтый. Кашлял. Люди думали, у него чахотка. Никто к нему не приезжал, да мало кто говорил с ним. Вскоре у него отнялись ноги, и он не смог передвигаться. Помочь ему не могли. Плохо ему стало и попросил, чтобы отвезли в больницу. 1 июня отыскали подводу и отвезли его в больницу в ближайший городок Крестцы. Пробыл там какое-то время, но долго его не держали.

Последнее письмо Хлебникова дрожащей от

слабости рукой без даты из больницы А.П.Давыдову:

“Дорогой Александр Петрович!

Сообщаю Вам, как врачу, свои медицинские горести. Я попал на дачу в Новгородск. губер., ст. Боровенка, село Санталово (40 верст от него), здесь я шел пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят. Расстройство (неразборчиво) службы. Меня поместили в Коростецкую “больницу Новгор. губ. гор. Коростец, 40 вест от железной дороги.

Хочу поправиться, вернуть дар походки и ехать в Москву и на родину. Как это сделать?” Коростец - это, конечно же, Крестцы.

Он в плохом состоянии. “Издатели под видом брата приходят ко мне в больницу, чтобы опустошить, забрать рукописи, издатели, ждущие моей смерти, чтобы поднять вой над гробом поэта. И по несколько лет заставляли валяться стихи. Будьте вы прокляты!” У него были галлюцинации. Никто к нему в больницу не приезжал, понятия не имели, где он и что с ним. Что записывал, он прятал в наволочку и спал на ней. Насчет того, что они ценить умеют только мертвых, правда, сказанная мягче и веселее другим поэтом, но позже.

В больнице ему стало еще хуже. Врач констатировал очевидное: отек тела и паралич. Еще три недели мук, ибо в больнице никак его не лечили. По другим источникам, у него еще был туберкулез в открытой форме, гангрена, но это домыслы. Начались пролежни, никто за ним там не ходил, не ясно даже, кормили ли. Митурич раздобыл телегу и увез полуживого поэта обратно в Санталово. Говорят, морские слоны уходят из стада в морскую пучину, когда предчувствуют близкую смерть. Особая порядочность этого человека сказала в критический момент его жизни. За полмесяца до смерти тяжело больной поэт попросил, чтобы его перенесли в заброшенную баню, чтобы не заразить обитателей дома, в особенности детей.

- Муж мой говорит, - продолжает Степанова. - Сосед Хлебников просится в баню, давай его перенесем. Хлебников сам попросился в баню, чтобы не заразить хозяев. Положили его в баньке. Муж ходил, подкладывал ему соломки. Перед смертью больной попросил, чтобы ему васильков букет принесли.

28 июня 1922 года Хлебников в этой баньке умер. Возможно, малярия привела к сердечной и почечной недостаточности, но это наши сегодняшние домыслы. Умер, и все тут. Последнее слово, произнесенное им в этом мире, было “Да-а-а...” Страшно сказать: смерть привела сумбурную жизнь поэта в порядок. Узнали старики, стали гроб делать. Положили его в гроб и сразу поставили гроб на телегу, повезли. От Сан-

талова, где стояли когда-то школа и та банька, до погоста в Ручьях часа два ходу. За телегой, на которой стоял гроб, брела кучка людей - пятеро мужчин и одна женщина.

- Муж мой пошел хоронить, - вспоминает Степанова. - Провожало гроб шестеро: Митурич с женой Натальей, Иванов Василий, Лукин, Богданов и мой Алексей. Никого из них в живых нынче нету.

В Ручьи мы приехали на машине окольным путем. Старая дорога мимо озера Маковского, где на холме было барское имение, заросла. В Ручьях на погост нас повела баба Саша - Александра Ивановна Сродникова. На похоронах тогда она не присутствовала, но жила рядом с кладбищем, и присматривала за могилами. Кладбище заросшее и неухоженное, укрытое могучими деревьями от непогоды, церковь разорена, но кругом чисто, красиво и спокойно. Привезли гроб на погост Ручьи, который после оказался в центре колхоза. Тихо его опустили в могилу под сосной, даже поспешно - без слов, без торжества, без ритуала. На сосне Петр Митурич высек имя: “Велимир Хлебников”. Потом посадил возле холмика рябину и две березы. Кто-то уже в наше время поставил досточку с датами жизни и смерти.

Пошли по высокой, никогда не кошенной полувысохшей траве между могилами, среди которых и последнее пристанище Председателя земного шара. Могила Хлебникова заросла пышной крапивой, руки и ноги у нас вспухли волдырями. Вот и дерево. Кора на нем слезится смолой. Фамилии “Хлебников” не было. Но имя Велимир чудесным образом не заросло, хотя и почернело, так что едва можно догадаться, если знаешь.

На листке бумаги, хранящемся в ЦГАЛИ, рукой Петра Митурича начертано: “Утром в 7-8 час. 27.VI на вопрос Федосьи Челноковой “трудно ли ему помирать” ответил “да” и вскоре потерял сознание. Дышал ровно со слабым стоном периодически вздыхая глубоко. Дыхание и сердце постепенно ослабевало и в 9 ч. 28.VI прекратилось”. Чуть ниже нарисован гроб с надписью по боку “Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников” и дописано: “Опущен в могилу 1-ю глубиной на кладбище в Ручьях Новгор.губ., Крестинского уезда Тимофеевской вол., в левом заднем углу у самой ограды между елью и сосной. П. Митурич”. Обратите внимание, что могила вырыта была мелкая: полтора аршина - это чуть больше метра.

Митуричу осталось хлебниковское наследие: две грязных наволочки, набитые обрывками бумаги. Он запечатлел в рисунках смерть Хлебникова и послал в журнал “Всемирная иллюстрация”, где их напечатали. Большинство руко-

писей поэта, которые, как писала Лиля Брик, он легко терял или оставлял где ни попадая в своей собачьей жизни, пропали.

Мы молча возвращались с погоста. Вокруг тьма: ни огня, ни встречного человека. В Крестцах познакомились со школьной учительницей. Она вообще ничего не слыхала про Хлебникова, ей не до этого, не говоря уж о детях. Стихов Хлебникова в окрестных библиотеках не нашлось.

Смерть как путь в бессмертие

У Хлебникова было чувство смерти. Вся сознательную жизнь он о ней думал. “Я чувствую гробовую доску над своим прошлым. Свой стих кажется мне чужим”. Не раз обращали внимание, но никто еще не объяснил роковую цифру 37, завершающую жизнь больших русских поэтов, начиная с Пушкина. Жизнь Хлебникова тоже оборвалась на 37-м году. В автобиографии он написал: “В 1913 году был назван великим гением современности, какое звание храню и по сие время”. Пошутил или самоуверенно констатировал факт?

Он написал эпитафию себе, которую, конечно же, проигнорировали. “Пусть на могильной плите прочтут: он вдохновенно грезил быть пророком”. Нет, он не считал себя пророком, как некоторые другие русские самоуверенные писатели, он лишь мечтал быть им - большая разница! Он называл себя “усталым лицедеем”, а людей - “мыслящими пчелами”.

В 12-м году Хлебников спрашивал: “Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?” Предлагал закончить великую войну полетом на Луну. Возможно, просто потому, что рифмовались “война” и “луна”. Человек, который называл себя безусловным материалистом, был чистым идеалистом. В каком-то смысле он анархист, бродяга, бездомный, дважды лежал в психушках, жил под красными и под белыми. Кто же он: гений, графоман, сумасшедший? По видимому, и то и другое, и немножко третье. Напомню стихи “Гроза в месяце Ау!”, кажется, любой трехлетний ребенок такие создаст:

Пуууо! Это гром.

Гам гра гра рап рап.

Пи-питизи. Это он.

Бай згозгизи. Молний блеск.

Пошлите такое стихотворение в любое издание мира - его не опубликуют. А ведь из него вышел, например, детский Чуковский: “Это че, это ре, это паха...”. Или Хармс. Или вся так называемая поэзия минимального выражения. И - тот же Хлебников сочиняет политпросветную дребедень для РОСТА:

От зари и до ночи

Вяжет Врангель онучи,

Он готовится в поход

Защищать царев доход. И т. п.

Сергей Городецкий назвал Хлебникова вождем и зачинателем футуризма, что разозлило, задев самолюбие, здравствовавших поэтов. Все они хотели считаться зачинателями, и это можно понять. Но он был самый странный из них. “Я хотел найти ключ к часам человечества, быть его часовщиком и наметить основы предвидения будущего”, - цитировал журнал неопубликованные тогда “Доски судьбы”. При этом журнал сообщил, что хотя Хлебников предсказал на 22-й год крупные успехи советской власти, он среди прочего - средневековый искатель философского камня, алхимик слова и цифры”. Городецкий сам был из первых акмеистов и организаторов “Цеха поэтов”, а в сталинское время ему пришлось переделывать либретто известной оперы Глинки: “Славься, славься, наш русский царь” на “Славься, славься, наш русский народ” и заниматься прочими сомнительными вещами, чтобы выжить.

Космический утопизм бродил в воздухе, Хлебников шел за Николаем Федоровым. Философские время и судьба - центральные мотивы Хлебникова, но реальное время и реальная судьба не отпустили ему времени проникнуть в эти две тайны. Он пытался проникнуть в тайну искусства, но когда это ему не удавалось, получалась банальность: “Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, “второй смысл”, когда оно стекло для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним...”

Великий путаник мысли, Хлебников смещал логику и, читая его, мы не знаем, восхищаться непонятной мудростью или спокойно отбросить очередную прочитанную глупость. Вот, например: “Духовная наука получит великое значение, потому (что) будет изучено, каким образом лень одного будет помогать труду многих”. Но может, это не то и не другое, а ирония, ибо Хлебников прибавляет: “Таким образом будет оправдан лентяй, потому что его работа сердца направлена на повышение общей трудовой радости”. Обратите внимание: в этой фразе видится проза Платонова. Итак, провидец Хлебников предчувствовал, что лень в советской стране соединится с трудом и появится лентяй (его слово, к которому, между прочим, хорошо подверстывается и слово “Ленин”).

“Королем времени” и “задумавшимся аистом” назвал его Бенедикт Лившиц. Он был рассеян “высшей рассеянностью”, как писал о нем М. Матюшин. Тынянов говорил, что Хлебников был “новым зрением” в поэзии XX века. В “будетлянской” книге “Учитель и ученик”

Хлебников, по его словам, “задумал мыслью победить государство”. Она вышла в мае 1912 года и итогом вычислений закономерностей мировой истории поэт предсказал падение Российской империи в 17-м году. После революции показалось, он ясновидец. А теперь видим, что империя просуществовала еще три четверти века. Разрушилась на наших глазах, но до разумного ли конца? И нету новых Хлебниковых, чтобы предсказать.

Хлебников пытался совершенствовать русский лексикон и делал это широко и с блеском. Автор - словач, критик - судри-мудри, поэт - небогрёз или песниль, литература - письмеса. Актер - игрец, игрица и даже обликмен. Театр - играва, труппа - людняк, представление - созерция, драма - говоряна, комедия - шутьня, опера - голосыня, быговая пьеса - жизнуха.

Каковы результаты в борьбе “классического мифотворца” Хлебникова против поэтических канонов? Маяковский очень точно оценил Хлебникова: у него было сто читателей, пятьдесят из них называли его графоманом, сорок читали и удивлялись, почему из этого ничего не получается и только десять любили этого Колумба новых поэтических языков. Ефим Эткинд считает, что “идеи Хлебникова оказались богаче его творчества”. А вот мнение Александра Жолковского: “Несмотря на гениальность Хлебникова - а, может быть, именно ввиду ее масштабов и экстремизма - эта попытка, утопическая, “графоманская”, уже в своем замысле, пока что не привела к успеху”.

Его “Лебедня будущего” - государство поэтов и ученых - Председателей Земного Шара, в котором осуществится мировая гармония. В 17-м они с Петниковым назвали себя Правительством Земного Шара. Вдвоем подписали они воззвание председателей земного шара. Григорий Петников, сподвижник Гастева, дожил до эпохи развитого социализма.

Помню встречи с Петниковым в Крыму в 60-х, где он жил, став с возрастом и по обстоятельствам правильным советским поэтом. Колесо подмяло его, и от греха подальше следовало забыть грехи молодости. В 94-ом исполнилось сто лет со дня рождения Петникова. Известная фотография Хлебникова (загляните, например, в Краткую литературную энциклопедию) в действительности бесстыдно отрезана от его совместного фото с Петниковым.

Хлебников с Петниковым пытались привлечь к подписанию воззвания Маяковского, Бурлюка и Горького, но те, видимо, почувствовали перебор и отстранились. А за год до этого Хлебников писал о себе одном: “Я постепенно стал начальником земного шара”. Но потом стал более демократичен, избавил мир от диктату-

ры. 30 января 1922 года, за полгода до смерти Предземшар в одиночку подписал “Приказ Председателей земного шара”, который закончил словами: “Скучно на свете”. И поставил подпись: Велимир Первый.

Не для него одного октябрьская революция пришла в виде смерти. Но он как в воду глядел. Дорогим путем получил он свободу. Не в этом ли смысл загадочного его завещания, оставшегося не выполненным: “Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу”. В 20-м он присутствует на представлении в Ростове-на-Дону своей пьесы “Ошибка смерти”. На сцене лихорадочная пляска двенадцати мертвецов.

В отличие от Петникова или Городецкого Хлебников, уйдя в смерть, остался таким, каким хотел быть. Живи он дольше, что бы с ним сделали? А он умер и перехитрил и агитпроп, и Лубянку. Этого допустить не могли, и гениальный хаос Хлебникова начал приводиться в советском литературоведении в нужный порядок.

“Каменная баба”

Как-то позабылось, что культ смерти пришел в Россию с большевиками: “И как один умрем в борьбе за это”. Манья перезахоронения останков великих людей стала частью советского государственного плана монументальной пропаганды. В середине августа 1960 года по официальной версии прах Хлебникова был перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. Могилу Хлебникова я видел не раз. В ней, согласно надписи, вместе с ним захоронены также его мать Екатерина Хлебникова, сестра Вера и муж Веры Петр Митурич.

А теперь вернемся на погост Ручьи к бывшей могиле Хлебникова. Оказывается, что она вовсе не бывшая, а самая настоящая, и время сказать, наконец, правду. Местные жители свидетельствуют, что приехавшие за прахом на погост Ручьи вскрыли не могилу Хлебникова, а соседнюю, безымянную. Да и ту копали, хотя могила мелкая, кое-как, спешили, нервничали, боялись протеста местных жителей, что-то покидали в ящик и уехали. Не исключено, что местные специально их обманули, чтобы приезжие не тормозили в могиле гостя, который здесь страдальцем помер.

Баба Саша - Александра Ивановна Сродникова - зорко бдила, чтобы хлебниковскую могилу никто не трогал. Она нам твердо заявила:

- Около рыли, но я являлась на могилу всякий день и видела, что могила цела-целехонька.

- Может, ночью тайно разрывали?

- Нет, я ночью чутко сплю, никто мимо дома

не ходил, по кладбищу не шастали... Что-то разрыли, нашли пуговицу и кость, горсть земли взяли, и это положили под плиту на Новодевичьем в Москве.

То же свидетельствовала до этого Степанова, однофамилица известного литературоведа:

- Рыли не на месте могилы, настоящая могила рядом, цела, не тронута, Бог уберет.

Некоторое время спустя получил от краеведа П. И. Гурчонка письмо, которое необходимо процитировать полностью: "Уважаемый Юрий Ильич! Не сообщали ли тебе, что в склепе в В. Хлебникова по той причине, что досих пор не можем смонтировать магнитофонные записи бесед с должительницей Е. Л. Степановой, произведенные у нее на квартире и непосредственно на могиле поэта.

В этих записях она категорически отвергает версию о вскрытии могилы Хлебникова и перезахоронении его в Москве. Могила, по ее словам, нерушима, произошла ошибка по незнанию алчного человека. Когда пленка будет у нас в музее, я смогу ставить вопрос перед Райисполкомом о приведении могилы в порядок, достойный памяти поэта.

За это время у меня была встреча с Василием Петровичем Митуричем, сыном Петра Митурича (ребенком от первого брака, он жил с матерью в деревне, когда умер Хлебников. - Ю. Д.), который также придерживается убеждения в правдивости слов должительницы... Выходит, что перезахоронение Велимира Хлебникова на Новодевичьем кладбище в Москве было чисто символическим". Письмо это важно как документальное свидетельство. В нем все понятно, кроме "алчного человека". Кто это и почему алчный? Я думаю - тут до сих пор не заржавевший конфликт семейный - сперва между двумя женами, а потом и между детьми от двух жен, и конфликт этот, как и прах поэта, не надо ворошить.

Остался один человек, который мог бы прояснить тайну: сын Петра Митурича и Веры Хлебниковой - Май Петрович Митурич. Я почти нашел его в Москве, но оказалось, он уехал надолго в Японию. Разыскал я его уже из Калифорнии по телефону. Вот что он рассказал.

- О месте, выделенном для Велимира Хлебникова на Новодевичьем кладбище, соответствующие инстанции уведомили Литфонд СССР. Прах перенес я лично. Первый раз мы с приятелем - художником Павлом Григорьевичем Захаровым, у которого была машина - и племянником поехали в Санталово на разведку, чтобы выяснить ситуацию, поговорить с местными людьми. А второй раз через два года, тоже втроем, поехали копать.

- А кто копал?

- Выкопали мы сами и сразу уехали.

Вот так, господа: никаких документов, комиссий, актов вскрытия могилы, экспертов - историка, археолога, криминалиста, хотя бы захудалого представителя местной власти, - ничего! А ведь не древние века - август 1960-го.

- На надгробии Хлебникову, - продолжаю я спрашивать Митурича, - в Новодевичьем монастыре четыре имени, не так ли?

- Там бабушка, то есть мать Велимира, умершая в 36-м и моя мать Вера, то есть сестра Хлебникова, скончавшаяся перед войной в 41-м. Урна стояла у меня дома в шкафу. Я перенес прахи бабушки и матери в ту же могилу, но не помню, когда. Отец мой, как он написал в завещании, хотел лежать "у подножья Велимира". Так что его прах я тоже перенес в новую могилу.

- А чей памятник Хлебникову на Новодевичьем?

- Памятник тоже сделал я сам.

Решил я опубликовать этот разговор только для прояснения истины, а вовсе не для упрека художнику и племяннику поэта Маю Митуричу. Наоборот, хочу подчеркнуть, что только на энтузиазме одиночек и сохранялись российские культурные ценности, особенно в советскую эпоху. Митуричи - отец и сын - спасли часть архива Хлебникова. Отец завещал рукописи сыну, а сын держал их у себя после смерти отца в 56-м и лишь в 63-м решил отдать в ЦГА-ЛИ. Не вина Митурича-младшего, что никакой комиссии не создали, а если создали, то на бумаге. Осуществить по закону и, так сказать, научно, было бы не трудно: как уже говорилось, могила мелкая, непотревоженная, в лесу. Но кому в Союзе писателей СССР охота было ехать в глухомань, тем более, что Хлебников и членом этого союза не был?

Итак, на Новодевичьем в Москве в могиле Хлебникова уложены его родственники: мать, сестра, муж сестры, видимо, со временем будет больше. Я за семейные захоронения, но трагикомический аспект в том, что самого поэта на этом престижном кладбище вообще нет. И надпись тут должна быть: "Здесь не покоится прах



Хлебников. 1916 г.

Велимира Хлебникова". Миллионы российских людей, погибших в нашем веке, вообще не имеют могил. И кажется, в этом смысле Хлебников удостоился особой чести: у одного поэта две могилы. Боюсь, правда, как бы проворные энтузиасты не использовали эти строки, чтобы доперенести прах. Будет! Беречь надо подлинную могилу, ухаживать за ней да знать, что на Новодевичьем просто воздвигнут ему памятник.

Стоял я недавно у надгробия Хлебникову на Новодевичьем с угрюмой известняковой бабой и, инстинктивно оглядываясь, повторял строки поэта. В поэме "Ночь в окопе" возникает образ каменной бабы, стоящей среди степей в качестве предвестника новых тяжелых испытаний:

Тупо животное лицо Степной богини...

- Скажи, суровый известняк,

- На смену кто войне придет?

- Сыпняк!..

Объявилась эта тетья,

Завтра мертвых не сочтете...

Поеживаешься от созвучия поэта с современностью, осознаешь, что Хлебников - еще одна неучтенная жертва октябрьской революции. Именно эта "каменная баба" сделала его голодным и больным, унизила, даже правописание имени и фамилии переделала ("Велимир" писалось через "и" десятеричное, а "Хлебников" через "ять"), заразила болезнями и умертвила.

Никто из разрешавших воздвигнуть памятник не понимал его смысла, а Май Митурич, сотворивший его, что-то объяснял про археологию. Он обвел вокруг пальца этой археологией советскую власть, вырвался из мифа, сочиненного на костях Хлебникова. Поэт, зарытый на погосте в Ручьях и непотревоженный, не ведает, что в Москве сотворенный им миф обрел реальность на... мифической его могиле. Поверх надгробной плиты Маю Митуричем положена подлинная "доисторическая" каменная баба, найденная археологами на Иссък-Куле. Вы разглядываете фантазмагорический образ ужаса и смерти, поваленный еще более жуткой силой, а "каменная баба" холодными глазами разглядывает вас. Мистика!

Мистика и в том, что у Хлебникова не только две могилы, но и два места рождения. По одним данным, село Тундутово, по другим - Малые Дербеты бывшей Астраханской губернии. Итак, уточним хотя бы один факт: в официальной могиле прах Хлебникова не лежит. А неизвестному жителю Саталова или Ручьев повезло: он (или она?) покоится на элитарном Новодевичьем, хотя и не под своим именем.



Эльке Эрб

Перевод с немецкого
Елены Свердловской

Отрывки из:

«На тему о стихотворном

Первые заметки 20 лет спустя

переводе»

Эльке Эрб - известнейший поэт современной Германии, лауреат авторитетных литературных премий (Генриха Манна, Петера Хухеля, почетная премия фонда Шиллера, медаль Рахели Варнгаген фон Энзе и т. д.). В течение многих лет читатели бывшей ГДР, а затем и ФРГ, знакомилась с русской классической литературой по ее переводам. Среди переводов Эльке Эрб произведения А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Брюсова, В. Хлебникова, Е. Замятина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Ахматовой и многих других русских поэтов и писателей.

[...] Чтобы найти рифму,
проверяешь заменяемость звеньев
и узнаешь их сцепку.

(Белые стихи обладали, как выяснилось,
не менее определенной формой, требовали
не меньших усилий.)

Другим полезным принуждением
было количество стоп, т.е. длина.

Считается, что немецкая проза при переводе с русского
становится на одну пятую длиннее.

Стих же требует своей длины.

Смотри, как сведешь концы с концами,
не то получишь в конце концов перевод стихотворения,
которого никогда и не было. Как разберешься?

Нужда должна переполнить, прежде чем ты ее одолеешь.
Полная нужда - вот полнота, дающая тебе уверенность.

Когда труд начался и осаждает
тебя безвыходностью:

Это, кажется!, бесконечное блуждание внутри,
не находя выхода, этот поиск помощи, поиск ночами
дневного света, намека!

Итальянский словарь потерял корешок
за 400 стихов Унгаретти.

И все время искать одни и те же слова (частицы!)
в русско-немецком словаре!

И специфическая бездушность словаря синонимов
и русского этимологического.

И унылая бравурность словарного материала,
помещенного в возвратном¹.

И снова напрасная поездка в библиотеку,
к лексикону русского языка.

Вообще - убогая скупость справочных инстанций!
Скупая справка убогих инстанций.
Справочная убогость скупых инстанций!

А потом однажды - одолженный -
четырёхтомный русский разговорный
прошлого столетия! несколько недель
иметь дома:

Эти частые мелкие движения в поле слова - биотопы -
даже если они не дают искомого -

как минимум, найдется какое-то подобие соседства,

раз уж ты ищешь в пустыне,
раскапываешь на северном полюсе.

И сверх того - это жалко подкрадывающееся
чувство ущербности,
как будто все и вся вокруг тебя живет, и лишь ты
занимаешься этим!

Запустение!

Но это чувство, будто ты один
чужд жизни и отвергнут,
обманывает, товарищи по несчастью!

Что я говорю - возьми работающего на конвейере,
возьми чиновника, возьми
восемьдесят восемь сотых -
жизни?

Более того: местечко у поленицы в деревне,
где я переводила Брюсова, потом,
после этого опустошающего усилия,
оно было обжито больше, чем другие:

будто я постоянно натываюсь там
на облако уплотненной жизни.
Собранием духов брюсовского толка
стала потом поленица.

Так же обжита потом
рабочая местность под названием Унгаретти.

Или ты моешь руки, и что-то -
в текущей воде - наводит на мысль об Александре Блоке.

И всегда так, неожиданно, «задним числом».

Во время работы белок ориентации получает
всяческие сообщения из происхождения оригинала.

Стихотворение было в ушах, в ощущении, в хотении,
в делании, в законе, во рту, в дыхании тех далеких,
того далекого другого, тех мертвых,
в стихотворении живых.

Другая страна, другое время², другое «я».

[...] Мы получали заказы от издательств.
Это было не так, как принято везде, когда произведение
предлагает сам переводчик, будучи в нем убежденным
и надеясь сделать его всеобщим.

Поскольку этот путь мне не знаком, не представляю себе,

что я бы переводила, к примеру, Пушкина не по заказу.

Да и когда мне было стать знатоком Пушкина, наряду с собственной писательской работой, наряду с изданием - и с переводами по заказу?

Перевод натывается у него на эрратический валун³, на нечто, без точнейшего понимания исторической ситуации, воздействий, сходящихся в нем, непостижимое.

Европейская культура, французский классицизм, перемещенные в среду интернациональности дворянства, пересаженные в живого преобразователя в Российской империи, с ее и без того непостижимой смесью

русских и азиатских образов и принципов, из коих последние при встрече с привнесеным извне проявляются и эффективнее, и существеннее.

С пониманием этого я была бы знатоком Пушкина, но не переводчицей как таковой,

у меня не было бы аспектов творчества вслед. Были бы они, тогда я бы, возможно,

смогла сказать тем, кто переводит: Там - эрратический валун, нечто невообразимое. Так, что они могут даже оттуда, будучи немцами, взяться за это.

Как было бы идеально, если бы меня кто-нибудь ввел в курс дела, так, чтобы я поняла, почувствовала, смогла донести, просигнализировать: здесь нечто неизъяснимое,-

чьи требования диктовали бы форму передачи стиха.

Так как: чем ближе перевод подходит к невыразимому,

тем вернее он будет не только передачей, но и сможет говорить, разумеется, без слов, от лица другого.

[...] Из года в год я обещала себе, в муке и раскаянии из-за принуждения, которому я себя подвергала при стихотворчестве вслед,

после такого мучительного головоломства:

В следующий раз я буду *жить* со стихотворением, в следующий раз оно должно, окрыленное своим собственным порывом, ожить на немецком.

Господи, мое вечное рабство на пашне!

Да, новые заказы я брала, даже утешаясь этим намерением,

отчаянно надеясь и приказывая себе, с новым автором, указанным мне, не доходить до такого живодерства.

И вновь, и вновь.

И каждый раз одно и то же:

Стих появлялся и захватывал меня в рабство.

Это работа камнелома, раскрыть стиху твой родной язык.

Потом, на одной из промежуточных ступеней, Нужда вынудила к эрзацу, который я рассматривала как успех:

В одном осеннем стихотворении (кажется, Тютчева) был дождь, и я искала стих под дождем. В другом - зима, и мороз до костей в себе. И т.д.

Наконец, эта мука была действительно позади,

и оказалось,

как я уже осознала тогда и в остальной жизни:

Образ счастья есть только отблеск несчастья, он подразумевает чужое счастье или вообще ложен.

Каким окажется выход, я не могла себе представить.

Меня срочно попросили взяться за несколько стихотворений Цветаевой, и я сжадалась.

И тут работа перестала терзать.

Между мной и текстами был покой.

Работа длилась, наверное, столь же долго, как и обычно, но я не замечала принуждения.

Так что распря, этот учитель, наконец сделала свое и отступила.

Только после работы я почувствовала успех, осознала, каким было мое счастье и говорила об этом каждому.

Оно было настоящее, оно не прошло, оно расположилось в буднях...

Октябрь 1990/Август 94

Текст из книги

«Дикий форст, дремучий лес. Заметки в прозе»
1995 Штейдль-Ферлаг

¹ Эрих Малер, Возвратный словарь современного немецкого языка, Лейпциг, 1970

² Я начала с Блока, потом был Брюсов, потом Цветаева для (небольшого, первого) сборника в «Поэтическом альбоме», серии, издававшейся Берндтом Йенцшмем, которую он отвоёвал у глупости «власти», а после него, после того, как он не пожелал больше ступить на почву Республики (казенный язык ГДРеспубликанцев), Рихардом Питрасом, пока ее у него не отняли. Это было весьма нелегко и часто длилось годы: пробить публикацию модерна первой трети столетия. (Успехи, достигнутые редакторами в нападении и сопротивлении стоящим на карауле инстанциям, прячущимся друг за друга. Послабление - также вследствие распада идеологии - лишь в последнее десятилетие.)

³ Эрратические валуны (от лат. erraticus - блуждающий) - валуны, перенесенные ледником на большие расстояния и состоящие из пород, отсутствующих в местах их нахождения. (Прим. перев.)

ОРИГИНАЛ СТИХОТВОРЕНИЯ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет - мелкой,
Миска - плоской.

Через край - и мимо -
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СЕРГЕЯ ГЛАДКИХ

Ich öffnete die Adern¹

(Ich) öffnete die Adern: unaufhaltsam,
Unwiederherstellbar peitscht² das Leben.
Haltet Schüsseln und Teller hin!
Jeglicher Teller wird - (zu) klein³,
(Jegliche) Schüssel - (zu) flach.

Über den Rand - und daneben -
In die schwarze Erde, den Röhrriecht nähren.
Unumkehrbar⁴, unaufhaltsam,
Unwiederherstellbar peitscht der Vers.

6. Januar 1934

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА

Die Adern geöffnet - nicht ^{aufzuhalten} aufhaltbar.
Unheilbar es:
Unkorrigier sprudelt das Leben.
Teller stellt, Schüsseln
Stellt Schüsseln und Teller dem unter! Lachhaft!
Was für Teller habt ihr gebracht - alles flache.
Statt Schüsseln - Platten.

Randüber - daneben!

Den Erdgrund schwarz, tränkts, das Schilfgewächs.
Unwiederbringlich, nicht aufhaltbar,
Unheilbar
Unkorrigierbar sprudelt der Vers.

- ¹ Wörtlich: Sehnen - volkstümlich für „Adern“.
² Im Sinne von: „sprudeln“, doch auch „peitschen“ im
eigentlichen Sinne ist mitgemeint. Dasselbe gilt für die letzte Zeile.
³ Wörtlich: „untief“. Das Wort wird aber auch im
Sinne von: „klein“, „gering“ verwendet.
⁴ Im Sinne von: „unwiederbringlich“.

Reimschema: abccadad

Akzente: _/_/_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_
 //_/_/_/_/_/_

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА

Die Adern geöffnet - nicht aufzuhalten,
Unheilbar sprudelt es: Leben.
nur
Teller stellt, Schüsseln stellt unter, lachhaft:
Jeder Teller wird - ein flacher.
Eure Schüsseln sind Platten.

Übermaß
Randüber, daneben

Den Erdgrund, schwarz, tränkts, das *Binsengewächs*
Unwiederbringlich, nicht aufzuhalten,
Unheilbar sprudelt es: Vers.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ПЕРЕВОДА

ENTSCHEIDUNG ÜBER ZEILE 7

Die Adern geöffnet - nicht aufzuhalten,
Unheilbar sprudelt es: Leben.
Teller stellt, Schüsseln nur unter, lachhaft!
Jeder Teller wird - ein flacher.
Eure Schüsseln sind Platten.
Übermaß, daneben,
Die Binsen zu nähren, die Schwarzerde färbts.
Unwiederbringlich, nicht aufzuhalten,
Unheilbar sprudelt es: Vers.

“Я СТРОИЛ ЗАМОК НАДЕЖДЫ”



Пазарь Пазарев

О Булате Окуджаве

Коротко об авторе

Лазарь Ильич Лазарев родился 27 января 1924 года в Харькове. В первые дни войны добровольцем ушел на фронт, несколько раз был ранен, инвалид войны. С 1955 по 1961 год работал в “Литературной газете”. После этого - в журнале “Вопросы литературы”. С 1991 года - главный редактор “Вопросов литературы”. Доцент кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики Московского университета. Член союза писателей с 1960 года, русского ПЕН-центра с 1995 года. Автор ряда книг, среди которых “Поэзия военного поколения” (1966), “Константин Симонов. Очерк творчества” (1985), “То, что запомнилось... О Викторе Некрасове и Андрее Тарковском” (1990) (Лазарев был редактором большинства фильмов Тарковского), а также мемуарных очерков и нескольких сотен литературно-критических статей.

“Л. Лазарев - один из лучших, серьезнейших советских критиков. Я его знаю давно и все, им написанное, всегда читаю с большим интересом. Умный, честный, пишет не о пустяках, а о том, что действительно задает его”.

Виктор Некрасов

Очередь на старом Арбате протянулась от станции метро “Смоленская” до театра Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Окуджавой - их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, составивших эту длинную очередь, было нечто общее - интеллигентные лица. Это бросалось в глаза, этого нельзя было не заметить. Никто их не призывал сюда, они сами по зову сердца пришли попрощаться со своим поэтом, со своим певцом, строившим для них “замок надежды”.

В зрительном зале звучала не траурная музыка, а песни Булата. Я слушал их, а в памяти моей прокручивался фильм, начавшийся почти сорок лет назад, в 1959 году...

Сменивший Кочетова на посту главного редактора “Литературной газеты” Сергей Сергеевич Смирнов предложил газете новый курс в литературе и формировал для этого соответствующий отдел литературы. Это была молодая команда - нынче все уже маститые: Бенедикт Сарнов, Инна Борисова, Валентин Берестов, Станислав Рассадин.

Рассадин, незадолго до этого окончивший филфак Московского университета, работал в издательстве “Молодая гвардия”. Когда вели с ним переговоры, в разговоре всплыло, что нам нужен сотрудник, который занимался бы поэзией, отбором и публикацией стихов. Рассадин сказал, что один из его сослуживцев в издательстве, работающий в редакции братских литератур,

молодой поэт, кажется ему подходящей кандидатурой на это место. Молодого поэта пригласили придти познакомиться.

Хорошо помню первое впечатление: какое-то удивительное изящество в жестах, в манере держаться. Он производил приятное впечатление, этот сдержанный, немногословный - любитель витийствовать, отчаянных спорщиков у нас уже было хоть отбавляй, - с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой. Выяснилось, что мы одногодки, он фронтовик, но ни малейших следов армейской бывалости я не заметил. Спросили, чьи стихи он любит, - ответ нас вполне устроил. Где учился? “Окончил Тбилисский университет, затем преподавал литературу в сельской школе под Калугой. А вообще с Арбата, грузин московского разлива”, - пошутил он. Это был Булат Окуджава.

На первых порах Булат оказался в довольно сложном положении. Он попал как бы в двойное подчинение, у него был второй, то ли основной, то ли дополнительный шеф, внештатный член редколлегии Владимир Солоухин, который с кочетовских времен курировал поэзию, определял, какие стихи печатать, а какие нет. Сразу же выяснилось, что вкусы у них разные, оценки расходятся, очень быстро дело дошло до конфликта. Вопрос был поставлен на редколлегии, и с “двоевластием” было покончено: Окуджава подчинялся только нам, стихи входили в число материалов, которые заявлял и отстаивал на планерках наш отдел...

Через некоторое время, когда мы стали уже командой, сблизилась, у меня дома по какому-то поводу, а может быть, и без повода - просто охота была собраться вместе и за стенами редакции, были запланированы посиделки, а точнее, то, что в прошлом веке называлось прекрасным словом пирушка. Подошел ко мне Рассадин: “Слушай, Булат не только пишет стихи, но сочиняет прекрасные песни. И очень хорошо поет. Попроси его взять с собой гитару. Не пожалеешь”. Булата особенно упрашивать не пришлось - это было время, когда он пел не только для слушателей, но и для себя. Потом, когда он уже регулярно выступал с эстрады, стал великолепным профессионалом, что-то у него получалось лучше, отточеннее, но не было, мне кажется, того упоения песней, как тогда, когда мы были первыми его слушателями, когда он пел и для себя. Песни Булата (к тому времени уже было написано три десятка песен, большую часть которых теперь знают все) - особенно песни о нашей военной судьбе - все, что он пел в тот затянувшийся почти до рассвета вечер, - ему даже пришлось остаться у нас ночевать, - потрясли меня. Нет, “потрясли” - стертое, в данном случае слабое слово. Это было одним из самых сильных, переворачивающих душу переживаний, которые были подарены



мне современным искусством за все, немалые уже, прожитые годы.

Подлинный масштаб современного литературного явления выясняется обычно не



сразу, но у меня и тогда, в тот вечер, когда я впервые услышал песни Окуджавы, не было ни малейших сомнений, что это настоящее событие, что песням его суждена долгая, славная жизнь. У меня давняя, с юных лет идиосинкразия к патетике, к громким словам, чем больше они напращиваются, тем сильнее меня тянет к иронии, но тут я с некоторым пафосом, чуждым и Булату, предрек ему: "Через год тебя будет знать вся страна".

После того вечера почти всегда, когда мы у кого-то собирались, Булат пел, и каждый раз это было для меня необыкновенным праздником. Я готов был его слушать бесконечно. Потом Окуджава стал выступать публично. Первый раз у нас в "Литературке" на одном из ставших постоянными - то ли "вторнике", то ли "четверге", не помню уже, в какой день бывали эти культурные мероприятия для "своих" и избранных "посторонних". В тот вечер в наш небольшой конференц-зал на шестом этаже мы правдами и неправдами провели максимальное количество друзей и знакомых. Нам так хотелось поделиться с ними песнями Булата, одарить этим богатством, этим счастьем всех, кого только возможно. Все мы пытались тогда петь его песни - даже Наум Коржавин, которому

на ухо наступил очень крупный медведь. Окуджаву стали все чаще и чаще приглашать в разные компании, клубы, дома. Песни его пошли на расхват.

Правда, не всем сразу открылось, что перед ними высокое искусство, были люди, которым сам жанр казался сомнительным, низкопробным - для "телеграфистов" и "горничных". На следующий день после вечера в "Литературке", на котором выступал Окуджава, тогдашний заместитель главного редактора Валерий Алексеевич спросил у меня: "Вы в самом деле считаете песни Булата Шалвовича настоящим искусством?" Нет, он не хотел изобличить Булата или меня в дурном вкусе - вопрос был задан вполне серьезно, - он был в некоторой растерянности, песни ему понравились, но смущало, что его впечатления расходились с его представлениями о серьезном искусстве.

А в Доме кино на вечере во время выступления Окуджавы произошел скандал. Снобистская публика, у которой атрофировалось непосредственное восприятие искусства, которая с пренебрежением относилась ко всему, что не стало модой, слушала Булата плохо, отпускала какие-то хамские реплики, и Булат, никогда, ни при каких обстоятельствах не поступавший своим достоинством, не закончив песни, повернулся и ушел со сцены. И потом много лет не ступал на порог этого Дома. Мы тоже считали себя оскорбленными и даже разрабатывали планы мести.

Все эти бурные события в жизни Булата - шутка сказать, вот так, на наших глазах к нему пришла известность, он становился кумиром взрывообразно расширяющегося круга публики, - не привели, однако, к тому, что он стал манкировать своими обязанностями в газете. Он был человеком ответственным. Мы сами старались, чтобы режим у него был посвободнее, чтобы он мог выступать почаще, а в остальном он не отдалился от команды, вместе со всеми вел бои местного значения на планерках и летучках, упорно дрался за те стихи, которые ему представлялись заслуживающими публикации в газете. У него вышел сборник "Острова" в "Советском писателе" - до этого, до прихода в газету, первая его книжка "Лирика" была издана в Калуге, он подарил мне "Ос-

„Ich baute ein Schloß der Hoffnung“

Über Bulat Okudshawa

Von Lasar Lasarew
Chefredakteur der Zeitschrift
„Woprosy literatury“

Die Schlange auf dem Alten Arbat zog sich von der Metrostation „Smolenskaja“ bis zum Wachtangow-Theater hin. Hunderte waren gekommen, um sich von Bulat Okudshawa zu verabschieden, es waren so viele, daß die Kondolenzzeit verlängert, die Abendaufführung verschoben werden mußte. (...) Im Zuschauersaal erklang keine Trauermusik, sondern es erklangen die Lieder von Bulat. Ich hörte sie, und in meiner Erinnerung begann ein Film abzulaufen, der vor fast vierzig Jahren begonnen hatte, im Jahre 1959...

(...) Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Eindruck: eine bewundernswerte Eleganz in den Gesten, in der Art und Weise seiner Haltung. Er machte einen angenehmen Eindruck auf mich, dieser zurückhaltende, wortkarge Liebhaber der gewählten Worte, verzweifelte Streithähne hatten wir schon zu Genüge, mit seinen traurigen Augen und seinem unerwartet prompten Lächeln. Es stellte sich heraus, daß wir der gleiche Jahrgang sind, er war an der Front gewesen, doch ich bemerkte bei ihm nicht die geringsten Folgen der Armeezugehörigkeit. Es wurde gefragt, wessen Gedichte er liebe, die Antwort war vollkommen zufriedenstellend. Wo er gelehrt habe? „Ich habe die Universität von Tbilissi

trova" с такой надписью: "Лазарь, это в память минувших битв и в честь грядущих новых. С любовью". И подписался - Ванька Морозов. Это герой одной из первых его песен.

И еще три всплывшие в памяти эпизода - в сущности, моментальные снимки. Один "литгазетовской" поры. Мы в Тбилиси, в гостях у известного грузинского поэта Симона Чиковани. Хозяин поднимает тост за Булата, говорит о трагической судьбе его семьи, которую он знал. Я взглянул на Булата: всегда сдержанный, никогда не терявший самообладания, он не может сдерживать слез. Второй "снимок" более

беendet, dann Literatur an einer Dorfschule in der Nähe von Kaluga unterrichtet. Aber im großen und ganzen komme ich vom Arbat, ein Georgier Moskauer Abfüllung“, scherzte er. Das war Bulat Okudshawa. (...)

Nach einiger Zeit, als wir schon zu einem Team geworden waren, kamen wir uns näher, aus irgendeinem Grund bei mir zuhause, vielleicht auch ohne Grund, - einfach weil wir Lust hatten, uns auch außerhalb der Redaktionsräume zu treffen, es waren abendliche Zusammenkünfte geplant, oder genauer das, was man im vergangenen Jahrhundert einen kleinen Schmaus nannte. Rassadin trat an mich heran: „Hör mal, Bulat schreibt nicht nur Gedichte, sondern komponiert auch wunderschöne Lieder. Und singt sehr schön. Frag ihn, ob er seine Gitarre mitbringen kann. Du wirst es nicht bedauern“. (...)

Bulat Okudshawa hatte ein glückliches literarisches Schicksal. Seine Lieder, die auf Tonband aufgezeichnet wurden (ich kenne Menschen, die sich nur dafür damals ein Tonbandgerät gekauft haben) und darum die Zensur umgehen konnten (Bulat selbst wurde ständig von der Macht und der offiziellen Kritik verfolgt, seine Liederabende wurden verboten, keine Schallplatten gepreßt, man schloß ihn aus der Partei aus - fast das ganze Arsenal der sowjetischen Straf- und Erziehungsmaßnahmen), verbreiteten sich mit der Geschwindigkeit eines Waldbrandes. Es ist untertrieben, daß er unerhört populär war, - die Mode vergeht, doch ihm blieb man treu, man liebte ihn, liebt ihn. Eine Generation löste die andere ab, aber die Liebe zu seinem Liedern erlosch nicht, erlöscht nicht und wird nicht erlöschen.

позднего времени. Оглушенные, онемевшие мы выходим после просмотра в ЦДЛ “Покаяния” Тенгиза Абуладзе. Молча обнимаемся: не думали, что доживем до этого. И третий. Несколько лет назад в летней русской школе в США, в Нарвиче, мы с Булатом ввязываемся в острый спор с нашим общим старым другом, который поносит Гайдара, Чубайса, реформы. Булат потом мне говорит: “Что это с ним? А у нас с тобой, как была общая позиция, когда мы познакомились, так и осталась”.

Когда-то Анна Ахматова написала: “Когда человек умирает, изменяются его портреты”.

В те печальные дни, когда мы прощались с Окуджавой, его поклонники - и не только в Москве - по-настоящему ощутили, осознали масштаб того, что он сделал в поэзии, в литературе, сделал для них. Стало ясно: во всей истории отечественной словесности не было поэта, который создал бы такой большой массив современных подлинно народных песен (сегодняшняя народность уж точно не в лапотносермяжном мнении и описании сарафана, которые высмеивали еще Белинский и Гоголь). Гитара, которая десятилетиями воспринималась как один из неизменных атрибутов мещанской пошлости, оказалась у него связанной с высокой поэзией. Песни Окуджавы - а в них его поэтическая индивидуальность выразилась и наиболее органично, и наиболее полно, - опирающиеся на романсовую традицию, несвойственную так называемой “массовой” песне, которая долгое время была официальной и полновластной законодательницей вкусов, не опускались, однако, до душещипательной сентиментальной чувствительности, - в них был истинный драматизм, они вбирали в себя трагедии нашего жестокого века.

Он знал эти трагедии не понаслышке, кровавое колесо истории проехало и по его судьбе. Отца расстреляли, мать отправили в лагерь, когда Булат был еще мальчишкой. Жил он с клеймом сына “врагов народа”, что значило - в этот институт не примут, в этом городе не пропишут, эту работу не получишь. Все это заложено в страстный его призыв:

*Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.*

Так случилось, что в литературу Окуджавы вошел одновременно с группой поэтов и прозаиков, которых стали именовать “шестидесятниками”: Ахмадулиной, Вознесенским, Евтушенко, Рождественским, Аксеновым, Гладilinым, Кузнецовым. Вот его и стали включать в эту обойму. Но он стоял особняком. Он был из другого времени. Со школьной скамьи ушел Булат добровольцем на войну, воевал в пехоте, был тяжело ранен. Там, на фронте, были его университеты, оттуда он вынес неостывающую ненависть к крови, жестокости, милитаристской романтике, демагогии и казенной лжи, там, под огнем, он научился по-настоящему ценить жизнь, проникся уважением к правде, как бы ни была она горька.

Окуджаву принес и в поэзию, и в прозу (повесть “Будь здоров, школяр!”, автобиографические рассказы, пронизанные высоким лирическим напряжением) трагический духовный опыт фронтового поколения. И даже предвоенный быт (“Во дворе, где каждый вечер все играла радиолы, где пары танцевали, пыля”; “...Маленький дворик арбатский с собой уношу, уношу”) опозитивирован Окуджавой как антитеза войне, перевернувшей весь уклад мирной жизни, опустошившей прежде полные молодой жизни дворы. Война была для Окуджавы незажившей, незаживавшей раной:

*Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.*

*Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.*

*Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, простреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и роищи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.*

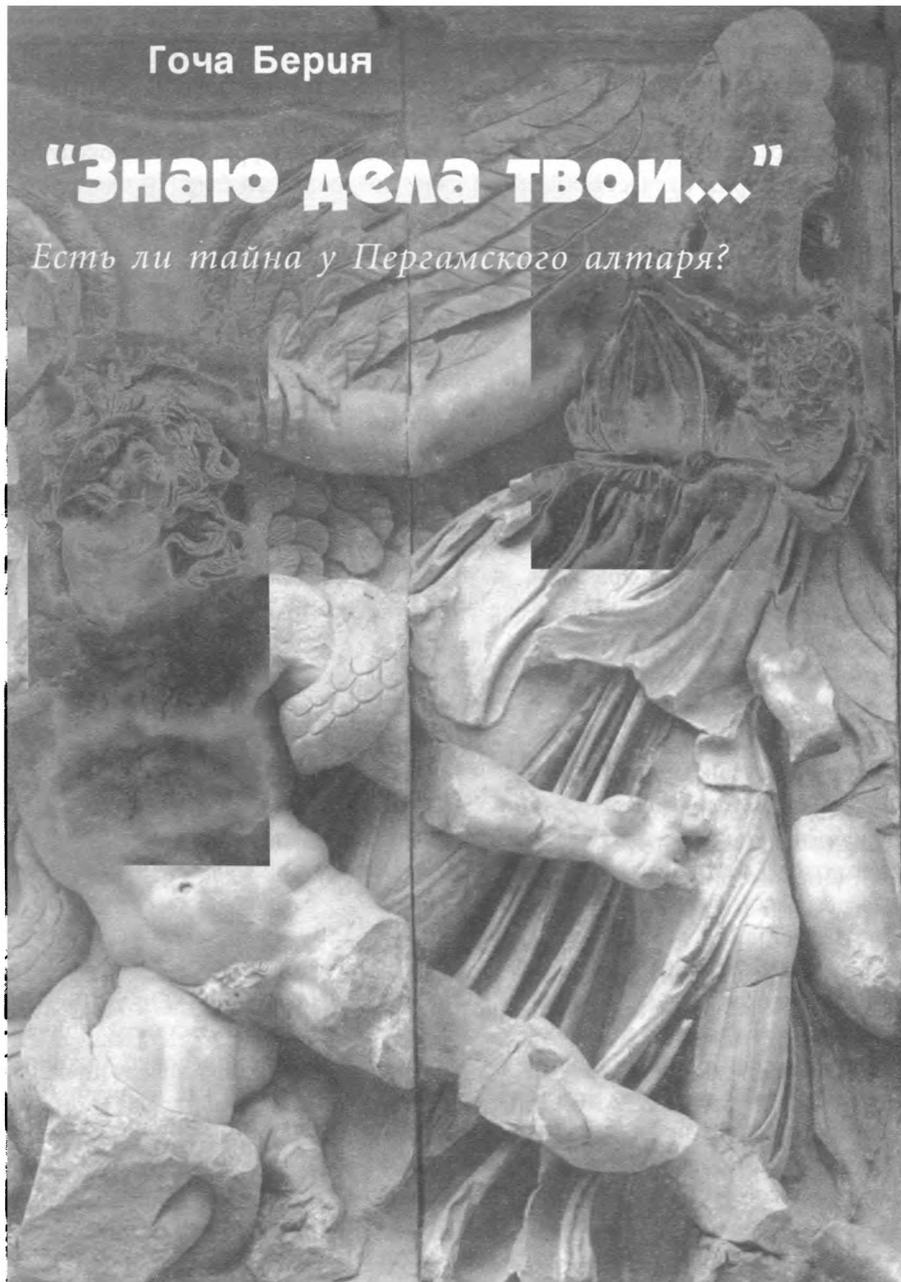
Песни Окуджавы отличает не суетная, не поверхностная современность; его лирический герой - маленький человек, такой же “московский муравей”, как и другие пассажиры “последнего, случайного” троллейбуса, у обожаемой им “богини” легкое пальтишко и старенькие туфельки. Окуджава воспевал простые и вечные человеческие ценности: “молюсь прекрасному и высшему” - таков его нравственный и поэтический девиз. В песнях Окуджавы - неостывающий жар человечности и доброты.

У Булата Окуджавы была счастливая литературная судьба. Его песни, записывавшиеся на магнитофонные пленки (я знаю людей, которые для этого тогда купили магнитофоны) и поэтому миновавшие цензуру (самого же Булата постоянно преследовали власти и официальная критика, запрещали его вечера, не выпускали пластинок, исключали из партии - почти полный набор советских карательно-воспитательных мер) распространялись со скоростью лесного пожара. Мало сказать, что он был неслыханно популярен, - мода проходит, а ему оставались верны, его любили, любят. Одно поколение сменялось другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает, не угаснет.

Гоча Берия

“Знаю дела твои...”

Есть ли тайна у Пергамского алтаря?



Загадка находящегося ныне в Берлине на острове музеев Пергамского алтаря “Зевса и Афины Победоносной” и по сегодняшний день остается неразрешимой. Одна из самых популярных гипотез, имеющая множество приверженцев, утверждает, что именно о Пергамском алтаре как о престоле сатаны говорится в “Откровении” Иоанна Богослова: “И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с сторон меч: знаю дела твои, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которых у вас, где живёт сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антия” (Откр.2;12-13).

Гипотеза эта появилась уже в конце

прошлого века, сразу же после обнаружения алтаря археологами. Однако, почему именно храму Зевса и Афины была приписана зловещая роль престола сатаны? В Пергаме было известно множество храмов, а один из них, величественный храм Эскулапа, изображенного в виде змея, даже претендовал на это звание еще до раскопок Карла Хумана, нашедшего Пергамский алтарь.

Прежде всего, необходимо отметить, для христианского учения все языческие идола являются демонами. Помня об этом, любой храм, где происходят идолопоклонство и различные культовые ритуалы, можно было бы назвать сатанинским, в том числе, разумеется, и Пергамский. Однако, кроме эмоциональных выступлений

От редакции:

В 4-м номере “Зеркала Загадок” была напечатана статья Валерия Поршнева “Тайна Пергамского алтаря”. Напомним, что речь идет об одном из самых популярных ныне берлинских музеев. Однако, как сообщает Поршнев, иначе обстояло дело в двадцатых годах нашего века, “когда алтарь был заново собран в немецкой столице... В 1924 году в Берлине проходили демонстрации протеста. Демонстранты, сторонники “Союза спасителей-миссионеров”, требовали прекратить “богохульное строительство” музея Пергамского алтаря”.

Дело в том, что обнаруженный Карлом Хуманом алтарь оказался по мнению многих исследователей не больше не меньше, а частью храма, названного в Апокалипсисе св. Иоанна “престолом сатаны”.

Предлагаем читателю полемический отклик на нашу публикацию Г. Берия. Автор излагает аргументы, ставящие под сомнение гипотезу, которой придерживается В. Поршнев. Таким образом, Берия как бы реабилитирует популярный берлинский музей.

демонстрантов в Берлине в 1924 году, протестовавших против “богохульного строительства” музея Пергамского алтаря, ничто не говорит о том, что именно алтарь Зевса и Афины упоминается в “Откровении”.

Одну, несомненно, очень интересную попытку разгадать тайну иносказания Иоанна предпринял историк и искусствовед Валерий Поршнев (Зеркало Загадок №4, 1996). Главным аргументом в пользу упомянутой нами версии Поршнев считает не столько архитектурную форму самого храма, сколько смысловое содержание изображений на фризе алтаря.

На мой взгляд, однако, в публикации Поршнева есть одно излишне поспешное утверждение. Автор пишет: “Алки-

оней - фигура наиболее интересная. Он распластан так, как будто его распяли. За спиной у него крылья, каковые в будущем христианском искусстве получают ангелы. Гиганта Клития терзает лев. Афродита затаптывает своего противника. Гея поднимается из глубин Тартара, воздевая руки, и тщетно пытается разжалобить богов, убивающих ее сыновей. И еще одна существенная деталь: все поле фриза заполнено змеями. Нетрудно представить себе, какие чувства мог испытывать добрый христианин, из греховного любопытства оказавшийся перед этим фризом”.

Говоря о “чувствах” жителя первого века н. э., необходимо, однако, прежде всего, дать общую характеристику духовной жизни античного общества того времени. Отметим, что вера римлян в указанный период была значительно подорвана распространением сочинений греческих философов. Уже за пять веков до н. э. корифеи греческой мысли сомневались в политеизме. Эврипид откровенно смеялся над жалкой “сказкой поэтов” и утверждал, что бог, который совершает злодеяние - уже не бог. Греческие герои и боги часто попадали в комические ситуации тогдашних сценических постановок. Философский рационализм и его трактовка бытия все более и более вытесняли мифическую оболочку, разумеется, не устраняя религиозной формы богопочитания.

Религиозный кризис выразился в том, что в столицу Римской империи начали проникать иные культы, началось томительное искание нового Бога. В Риме, где религия носила государственный характер, дело дошло до того, что чужестранный бог утверждался на заседании Сената. Были случаи, когда язычники посвящали алтарь “неведомым богам” (Деян. 17.23), опасаясь навлечь на себя гнев какого-нибудь им неизвестного божества.

Античная религия держалась на мифе разгаданном и лишенном реальности, религию стали считать всего лишь средством упорядочения жизни и формой ее организации.

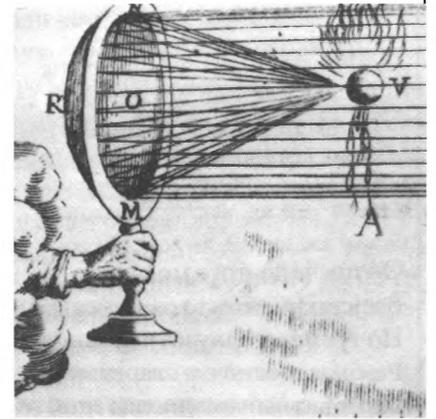
Таким образом, можно представить себе не только “доброе христианина”, но и “доброе язычника”, с “греховным любопытством” разглядывавшего фризы алтаря Зевса и Афины. По-

добное он, в отличие от нас, видел в великом множестве везде и всюду, и едва ли размеры к тому времени “развенчанного” сооружения, множество змей на фризе и т. д. могли внушить “разочарованному” жителю первого века, христианину или язычнику, мистический ужас.

В. Поршневу утверждает также, что в храме Зевса и Афины отправляла свой культ секта николаитов, упомянутая Иоанном. Автор высказывает предположение, что именно это выделяло храм среди прочих, делало его особенным, то есть “достойным” звания престола сатаны. Поршневу пишет: “Не было ли для пергамских николаитов участие в языческих трапезах чем-то большим, чем просто потаканием плоти? Не увидели ли они на алтарном фризе в облике крылатого крестом раскинувшего руки (будто распятого) Алкионея-гиганта своего “доброе” бога, пострадавшего от творца “темной” материи? Вероятно, в этом и кроется разгадка тайны Пергамского алтаря. Для последователей секты николаитов, о которых пишет св. Иоанн, он играл роль, подобную той, которую образ распятия играл для христиан. Не Зевсу и Афине, но поверженному сатане поклонялись николаиты, ему воздавали свои почести. Может быть, с этим связан и погром, впоследствии учиненный ревнителями истинной веры?”

Это смелое предположение автора, признаюсь, показалось мне весьма правдоподобным и остроумным. Однако, весомым аргументом назвать его не могу. Ведь и в Эфесской церкви были николаиты (Откр. 2. 4-6), и в Фиатре. Полухристианская секта николаитов, проповедовавших компромисс с язычеством, получила в ту эпоху настолько широкое распространение, что николаитские культы в пергамском храме Зевса и Афины несколько не выделяли его среди прочих храмов. Между тем, звание престола сатаны мог “заслужить” только храм, принципиально отличающийся от других.

Не знаю, удастся ли когда-нибудь раскрыть эту загадку. Наши представления о древнем мире складываются из мелких осколков, лежащих в витринах и хранилищах музеев, давно известных и подробно изученных. Новые ценные находки появляются крайне редко. Что



было бы, если бы вместо алтаря Зевса обнаружили другой, до сих пор неизвестный? И все же, существовал в античном мире храм, который с не меньшим, а, может быть, и с большим правом мог бы быть назван престолом сатаны.

В Риме периода принципата на фоне “олимпийского” великолепия появилось особое божество - статуя царствующего императора, то есть “живого бога”. А в конце первого века поклонение ему начало играть доминирующую роль. Интересно, что особенно сильно процветал культ цезарей именно в Пергаме. Там был построен первый храм в честь царствующего императора. Это произошло примерно в правление Домициана, то есть в последнее десятилетие первого века.

Во время праздников в честь цезарей к участию в них привлекали и христиан. Христиане, рискуя жизнью, отказывались участвовать в этих празднествах. Отказавшиеся осуждались и наказывались по обвинению в оскорблении величия на основании законов о государственном богопочитании. Началось новое гонение на христиан, описанное в Откровении Иоанна (Откр. 6.3).

Вполне вероятно, что именно гонения на христиан в Пергаме, где был воздвигнут первый храм императору, легли в основу знаменитого иносказания Иоанна о престоле сатаны. Что же касается Пергамского алтаря Зевса и Афины, находящегося ныне в Берлине, то, может быть, история еще открывает нам его настоящую тайну. Если она, конечно, существует.

Страница поэзии

Виктор Шнейгер

Генриетта Пяховицкая

Леонид Бергичевский

Рондо капричиозо

Он после долгого молчанья
Воскликнул что-то со значеньем,
Но тут перевернулся чайник,
Разбилась баночка с вареньем,
Варенье вылилось на скатерть,
Хозяйка вывихнула ногу...
Как это было все некстати:
Он мог сказать еще так много!

Воспоминание о Петергофе

Льва дерет герой библейский,
У того из пасти пена...
А у нас подход плебейский -
Мы гуляем постепенно
Вдоль каскада по аллее
И гадаем полусонно:
Лев, должно быть, околеет.
И не жалко льва Самсону?!
Пусть водой его облило,
Да в воде немного риска.
Дома ждет его Далила -
Палестинка-террористка.
Впрочем, род ее не важен:
Встреча их не на войне же!
Ну, а рот ее - так влажен,
Поцелуй ее - так нежен!

1996

Из Гейне

Умирая, царь Давид
Соломону говорит:
Присмотрись получше, право,
К генералу Иоаву.
Этот храбрый генерал
Роль в судьбе моей играл.
Да какую! Я же мало
Занимался генералом.
Ты разумен, мой сынок,
Ты силен и в вере строг.
В общем, оно солдата
Уничтожишь без труда ты.

Любовь того, иного ненависть
Мне досаждали хуже хвори,
И причиняли мне страдания,
и приносили боль и горе.
Но та, что горше всех обидела,
Всех больше мучила и злила,
Меня ничуть не ненавидела,
Меня нисколько не любила.

Расскажу вам без обману -
мне рояль не по карману,
я на скрипочке пиликаю,
непохожей на реликвию -
фьюи-фьюи-фьюи-фьить -
хорошо на свете жить!
Ничего, что мир огромный
и немножечко погромный.
От Китая до Америки
разъютились наши жмеринки.
В них сопливые детишки
все почитывали книжки,
да поигрывали гаммы
под приглядом доброй мамы,
и с лучистыми глазенками,
что над струнами, над звонкими,
вырастали мендельсонами,
или с думами бессонными,
что вселенною наваяны,
просыпались эйнштейнами,
и с печальной улыбкою
наклонялись над скрипкою -
фьюи-фьюи-фьюи-фьить -
нелегко евреем быть -
по освенцимам гореть,
тяжким пеплом землю греть,
и измученно-израненным
обращать свой взгляд к Израилю,
и в пустыне сад растить,
на иврите говорить,
размышлять над древней Торою,
продолжать свою историю...
И сметливые детишки
все почитывают книжки
о любви и совестливости,
о всеобщей справедливости,
и склоняются над скрипками,
озаряя мир улыбками -
фьюи-фьюи-фьюи-фьить -
Хорошо на свете жить!

Август 1997

Когда зима пургой завьюжит,
окно узор набороздит,
круживших множество жемчужин
земля притянет, как магнит.

И на деревьях хлопья снега
повиснут заворожены
восторгом своего ночлега,
своей слепящей белизны.

Зима зажжет морозом лица,
кашне и шубы опушит.
Прохожих эта баловница
шуршанием ошеломит.

Я запахнусь потуже пледом,
в мечтательном забудусь сне...
Весне я бесконечно предан,
я буду грезить о весне.

Ноябрь 1997

Разыгрываем драму в лицах
среди нервных криков воронья.
И только изредка зарницы
кружат, как праведные птицы
над серой пеной бытия.

И, вроде бы, большие роли
уже разобраны давно.
И остается поневоле,
не налегая на бемоли
крутиться, как веретено.

Здесь ежедневная премьера
и более того - аншлаг.
И поразительно, не в меру,
что в венах носится мадера,
а в праздник хлопает коньяк.

Антракт бы нужен. Нету мочи.
И умолкает воронье.
А неизвестность душу точит,
ее так неразборчив почерк
и содержание ее.

1997

Вячеслав Демидов

Эрос в штатском

НКВД и психоанализ



Российские коммунисты, придя к власти, поначалу чрезвычайно увлеклись психоанализом. Троцкий полагал необходимым, во-первых, „выпустить новое, «улучшенное издание» человека“, для чего предлагал спить психоанализ методом условных рефлексов Павлова. А во-вторых, международные связи психоаналитиков были превосходной „крышей“ для деликатных операций за рубежом.

Любая хорошо написанная научная книга - сундук с двойным дном. Автор развивает свою мысль, а читатель замечает подробности, которые поворачивают эту мысль чуть по-иному, в новом свете. Книга Александра Эткинда “Эрос невозможного” - из таких.

Она посвящена истории психоанализа в Российской империи и Советской России начала XX века, а слова “эрос невозможного” - цитата из высказываний Вячеслава Иванова (1866-1949), поэта и теоретика символизма. Он утверждал, что следует подняться над миром в “башне из слоновой кости”, - и в своей квартире на Таврической улице в Петербурге, которая звалась “башней”, занимался, помимо поэзии, как пишет А. Эткинд, “эротическими экспериментами группового характера”.

Однако представляется, что с таким же успехом книгу “Эрос невозможного” можно было бы назвать “Психоанализ на службе ОГПУ-НКВД”. Если читать ее параллельно, например, с книгой генерала КГБ Павла Судоплатова “Разведка и Кремль”, выявляются интереснейшие связи психоанализа с ОГПУ-НКВД.

При всей популярности фрейдизма в России первых двух десятилетий XX века, Фрейд относился к русским левым без всякой симпатии. Он как-то сказал своему биографу, что некий большевик сумел наполовину обратить его, Фрейда, в свою веру. И на вопрос, почему только наполовину, - ответил: “Они говорят, что после их победы сначала будут страдания и хаос, а потом всеоб-

щее процветание, - я же вижу только первую половину”.

Как воспитанный человек, ученый, конечно, ничего подобного приходившим к нему социал-демократам не говорил. И марксисты трансформировали идеи Фрейда по-своему. Так, выступил однажды с докладом “Психология марксизма” ученик Фрейда и близкий знакомец Льва Троцкого, немецкий психоаналитик Альфред Адлер. И сообщил, что подавляемые, согласно учению Фрейда, агрессивные инстинкты невротиков “у пролетариата трансформируются в классовое сознание, о котором говорил Маркс”. Другой психоаналитик, Поль Федерн, совершенно серьезно утверждал, что, в соответствии с Фрейдом, большевизм есть замена “патриархальной власти” (отца-царя над ребенком-народом) “матриархальными принципами братства”.

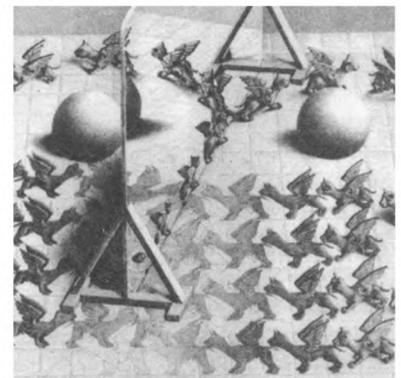
Германский коммунист Вильгельм Райх, организовавший в 1931 году “Германскую ассоциацию сексуальной политики пролетариата” (СЕКСПОЛ), - писал: “Сексуальность осознала себя во Фрейде так же, как ранее экономика осознала себя в Марксе”. Он утверждал: разгул авторитарной власти, наступивший в Советской России, - следствие того, что там в 1923 году была “остановлена сексуальная революция”. Он призывал высланного из страны Троцкого отнестись к ней серьезно, однако соперник Сталина уклонился от участия в мировом сексуальном движении.

Оригинальны были взгляды Райха на причину победы национал-социализма в Германии: смену власти рабочие под-

держали потому, что она обещала реализацию “авторитарных структур характера”, тайно сформировавшихся у “сексуально подавленных людей”, которыми были рабочие в условиях императорской - “патриархальной (отцовской)” власти. Тут уж даже Фрейд изумился и исключил Райха из числа своих учеников. Заодно его исключили и из Международной психоаналитической ассоциации.

Российские коммунисты, придя к власти, поначалу чрезвычайно увлеклись психоанализом. Члены психоаналитического кружка в Казани пришли к выводу, что методы анализа, разработанные Марксом и Фрейдом, имеют много сходного: “...оба занимаются человеческим бессознательным; <...> объектом того и другого является личность в ее социальной и исторической детерминации...”. Русское психоаналитическое общество в 1925 - 1927 годах проводило по пятнадцать-двадцать заседаний в год и было одним из активнейших членов Международной психоаналитической ассоциации. А переехавший из Казани в Москву основатель Казанского психоаналитического кружка Александр Романович Лурия, будущий академик и всемирно известный нейропсихолог, стал секретарем Общества и работал над “детектором лжи”, сообщая о дрожи пальцев допрашиваемого. Задание поступило от мало кому тогда известного А. Я. Вышинского - будущего главного обвинителя на всех процессах деятелей троцкистско-бухаринско-зиновьевской оппозиции. Однако в серийное производство прибор не пошел. Из-за сложности. Соратники Вышинского применяли обыкновенную щель между дверью и косяком...

Известный же московский психоаналитик М. Вульф выехал в ноябре 1927 года в заграничную командировку в Берлин - да и решил (или кто-то решил за него) назад не возвращаться. Жил на заработки от публикации статей в



журналах Международной психоаналитической ассоциации, находившейся именно в Берлине. Издавались журналы на средства президента Ассоциации: Макса - или Марка, его имя пишут по-разному, - Эйтингона (1881-1943), философа и психотерапевта.

Эйтингон был богат, а родственные и иные связи его были удивительны. Начать с того, что его младший брат был в 20-е годы начальником 1-го отделения (нелегальная разведка) Иностранного отдела ОГПУ (НКВД, КГБ).

Фрейд. 1931 г.



Эту линию берлинский Эйтингон, понятное дело, не афишировал.

Не очень-то он распространялся и о том, откуда берутся у него деньги, достаточные для открытия в Вене издательства, выпускавшего труды Фрейда, а в Берлине - психоаналитического института. Для издания журналов Международной психоаналитической ассоциации. Для материальной помощи как бедствующим психоаналитикам русского происхождения, так и самому Фрейду (венский патриарх получал от Эйтингона деньги!). Для напечатания двух автобиографических книг знаменитой в России и эмиграции русской певицы Надежды Плевицкой. Наконец - для содержания поставленного на широкую ногу собственного особняка в аристократическом берлинском Тиргартене.

На этой вилле собиралась преинтереснейшая эмигрантская публика. Приходил двойной тайный агент большевистского ОГПУ ("Фермер") и нацистской СД (кличка неизвестна) белый генерал Н.В.Скоблин, участник похищения и тайной переправки в СССР главы парижского Русского Общевоинского Союза генерала Е.К.Миллера, которого он привел прямо на явочную квартиру НКВД. Приходила, конечно, жена Скоблина (она же подруга Эйтингона, которую, по ее словам, хозяин виллы "одевал с головы до ног") Надежда Плевицкая, пела "величальную" наиболее важным гостям: "К нам приехал, к нам приехал, ... дорогой!" Приходил изгнанный Лениным из России философ Лев Шестов (ему Эйтингон не раз помогал деньгами) в компании будущего деятеля Всемирного еврейского конгресса Аарона Штейнберга, - последний, впрочем, быстро почувал в собиравшемся у Эйтингона обществе что-то недоброе.

Как выяснилось на суде по делу о похищении генерала Миллера, Плевицкая со Скоблиным тратили вдесятеро больше, чем легально зарабатывали. Но суд был во Франции, вилла - в Германии, а деньги Эйтингона - по германским законам вполне законными. Откуда же они брались?

Слов нет, при Психоаналитическом институте была поликлиника, куда, возможно,



Макс Эйтингон

обращались богатые клиенты. Но Эйтингон не был ни практикующим психоаналитиком, ни теоретиком психоанализа: "не написал в своей жизни ни одной клинической статьи, вообще ничего, кроме общих речей", - вспоминал много лет спустя резидент НКВД в Швейцарии Шандор Радо - "Дора". Так что если поликлиника и приносила доход, то не он был основой содержания виллы и существования Международной психоаналитической ассоциации. Куда важнее, что ее президент занимался меховой торговлей. Не какой-нибудь, а масштабной, с отделениями в Польше, Германии и США.

Откуда шли меха? Из Советской России. Благодаря монополии внешней торговли. И особенно благодаря могущественному тогда Льву Троцкому, который занимал в советском правительстве пост Народного комиссара по военным и морским делам (наркомвоенмор), а кроме того - был председателем Главконцесскома, выдававшего разрешения на сделки с иностранцами. Когда Троцкий потерял власть, ушла в небытие меховая фирма Эйтингона и... закрылся Психоаналитический институт в Берлине.

Но это позже. А покамест наркомвоенмор интересовался психоанализом весьма серьезно: ради практики, которая должна была заключаться вовсе не в беседах с лежащими на кушетке пациентами. Троцкий полагал необходимым, во-первых, "выпустить новое, «улучшенное издание» человека", для чего все-таки предлагал слить психоанализ с методом условных рефлексов академика И. П. Павлова (о чем даже письмо отправил академику, да тот не посчитал нужным ответить...). А во-вторых, международные связи психоаналитиков были превосходной "крышей" для деликатных операций за рубежом. И в самом деле, что может быть лучше для явочной квартиры или резидентуры, чем психоаналитический кабинет с его многочисленными пациентами, к тому же нередко из высших сфер?

Вагим Тарпинский

О происхождении фамилий российских евреев.

Очерк первый.

- И что это за фамилия - Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали - Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас было известно.

- Это не псевдоним. Это моя фамилия - Неизвестный.

Эпизод на "встрече" Н. Хрущева с творческой интеллигенцией.

Неисключено, что авторство фамилии предка Эрнста Неизвестного принадлежит нашему классику и одновременно государственному мужу Гавриилу Державину, который монаршей волей был приобщен к решению еврейского вопроса в России.

Коротко ознакомившись с житьем-бытьем белорусских евреев, Державин еще в 1800 году составил реляцию под названием "Мнение", в которой высказал необходимость введения еврейских фамилий в России.

И, как и положено певцу анакреонтических песен, предложил прибавлять к еврейским именам фамилии-характеристики: Замысловатый, Промышленный, Дикий. Это должно было облегчить проведение переписи и судебных дел. Может быть, по совету крупнейшего русского поэта XVIII в. в середине XIX в. и появилась еврейская фамилия Дикий - Дикой.

Но Гавриил Романович не был первооткрывателем новых антропонимических порядков. Он лишь пытался перенести на российскую почву передовой европейский опыт. Первый декрет о фамилиях подписал австро-венгерский император-реформатор Иосиф II. Все евреи до 1 января 1788 года должны были принять фамилии, старый бесфамильный порядок отменялся навсегда. Но это еще не все. Одновременно отменялись и прежние еврейские имена, до 30 ноября каждый еврей должен был представить в магистрат прошение о новом имени, заверенное подписью раввина.

Итак, начиная с 1788 года в Австрии, в 1807-1814 гг. в Германии и почти че-

На психоанализ Троцкого "вывел" его партийный коллега А. А. Иоффе, с которым они вместе в 1908-1912 годах издавали в Вене газету "Правда" в пику "Искре" Ульянова-Ленина. Подпольщик Иоффе лично транспортировал нелегальную литературу в Россию, что не лучшим образом отразилось на его нервной системе. Он стал лечиться у Альфреда Адлера, к которому пришел однажды из любопытства и Троцкий, много лет спустя вспоминая, что "довольно близко соприкасался с фрейдистами, читал их работы и даже посещал их заседания".

Близким к Троцкому и Иоффе в те венские годы был партиец Виктор Копп - после большевистского переворота первый советский полпред (посол) в Германии. С этим Коппом в ноябре 1924 года произошла удивительная метаморфоза. Несмотря на свой высокий дипломатический ранг, на должность члена Коллегии Наркомата иностранных дел (НКИД) и пост уполномоченного НКИД при Совете Народных Комиссаров - высшем органе власти Советской России, Копп вдруг становится вице-президентом Русского психоаналитического общества! Причуда правительственного чиновника?

О, нет! Вице-президент Копп, в отличие от Коппа - уполномоченного НКИД, имел теперь совершенно легальные, не вызывавшие ни у кого вопросов возможности контакта с Международным психоаналитическим обществом. То есть мог в любое время встретиться с Эйтинггоном, приехать к нему в Тиргартен и поговорить... О чем? Ясно, не о погоде. По мнению А. Эткинды, новая должность Коппа обеспечивала "координацию внешнеэкономических, дипломатических и валютных операций".

Вот и сложилась триада: два коммуниста - наркомвоенмор Троцкий с дипломатом Коппом - плюс беспартийный меховщик-психоаналитик Эйтингон... Которому ничего не подозревавший Зигмунд Фрейд писал: "Я предполагаю, что наши отношения, которые развились от дружеских до отношений отца и сына, продлятся до конца моих дней".

Так на "меховые" - контролируемые из Москвы - деньги жила в начале века Международная психоаналитическая ассоциация, боролся с финансовыми трудностями великий Фрейд, шел по планете психоанализ...

рез полвека после "Мнения" Державина - с 1845 года - власти Российской империи принудили своих евреев выбирать искусственные или реже сложившиеся естественным путем наследственные фамилии-прозвища. Чаще всего возникали "гибридные" варианты: древнееврейские имена с идиш-немецкими или славянскими окончаниями, идиш-немецкие имена со славянскими окончаниями, славянские корни с идиш-немецкими суффиксами, русифицированные романские фамилии сефардов, прозвища на базе тюркских или других восточных корней со славянскими суффиксами и т.п. Иногда фамильные корни образовывались в результате перевода на идиш ивритских названий, а имена на идиш и иврите переводились на славянские языки.

Итак, учет евреев в Российской империи осуществлялся с помощью т.н. "ревизских сказок", для чего приходилось конструировать еврейскому населению имена методом "подобия". Чиновники, проводившие перепись, пользовались присланными из столицы циркулярами, предусматривавшими образцы, согласно которым рекомендовалось заполнять переписные листы. Переписчики в соответствии с формулой русского официального трехчленного поименования создавали в силу своей фантазии и не без фельдфебельского юмора для всего разноплеменного населения Российской империи псевдорусские фамилии. Но, пожалуй, наиболее изощренное творчество пришлось на фамилии евреев, особенно неблагозвучными были фамилии, дававшиеся в Галиции. Недаром они назывались "галицийскими кличками".

Для полицейских и фискальных служб России фамилия являлась наиболее удобным ориентиром при наборе в армию, рекруты, в кантонисты, но главное - для взимания налогов. То, что на территории христианских государств среди нормальных подданных обретается некий чуждый народ, из

которого весьма выгодно выжимать как из губки, деньги, но который почему-то не имеет фамилии по христианскому образцу и вносит этим путаницу, начало выглядеть недопустимым беззаконием. Л. В. Успенский писал: “Эта непривычная мера вызвала сопротивление со стороны большинства еврейского населения: пользы для себя от новых имен они не видели никакой, а хлопот множество. Тогда по отношению к ним были приняты насильственные меры”.

Специальные чиновники, т.н. “аудиторы”, в странах Центральной и Восточной Европы получили право “награждать” каждого еврея любой фамилией по своему усмотрению, если те отказывались придумывать их для себя сами. “Вот тут то и началась сущая свистопляска сочинительства”, - писал Л. Успенский. Аудиторы быстро обнаружили в новых законах источник личного обогащения. Ведь они могли навязывать еврею такую фамилию, которую было неловко, противно или оскорбительно носить. В то же время аудиторы имели право утверждать или, наоборот, запрещать выбранную самим евреем красивую и благозвучную фамилию. Значит, за “хорошую” фамилию приходилось раскошелиться. Таким образом, скажем, за фамилию “Гутерман” надо было отвалить аудитору кругленькую сумму, а фамилию “Хацер” (вор - иврит) можно было получить совершенно бесплатно. Аудитору не надо было напрягать извилины, чтобы нищему калеке записать фамилию от слова “Горб” (на иврите “гавнун”). И только ценой унижений, просьб о материальной помощи к более зажиточным родственникам и соседям, наконец удавалось изменить звучную фамилию Гавнун на нейтральную Гиббин (от “гиббен” на иврите, что значит “горбатый”).

Поэтому в фамилиях отражалось имущественное неравенство жителей забытых Богом местечек. Тот, кто побогаче, готов был нести любые расходы, лишь бы к его семье, к потомкам не приклеилось какое-либо дурацкое прозвище. Но за еврейской беднотой, которая не в состоянии была откупиться от аудитора, нелепые, презрительные или грубовато-шутливые клички закреплялись совершенно бесплатно. И, увы, навсегда.

Если же еврей пытался перевести в официальную фамилию свое благозвучное прозвище (обычно на иврите), то, естественно, требовалась взятка. Известны примеры, когда того или иного еврея аудитор шантажировал: если бу-

дешь упорствовать, то твое традиционное, привычное прозвище не сделаю фамилией, а замену на противоположное. Известен случай, когда весьма небогатый еврей из Львова вынужден был собирать среди родственников и соседей 100 золотых форинтов для взятки только за то, чтобы в ранее присвоенную ему фамилию проставить лишнюю букву, маскирующую ее неприличный смысл.

Новые фамилии массовым порядком и почти одновременно конструировались в плотно населенной черте оседлости. Поэтому, даже не будучи вымогателем, аудитор весьма часто не имел возможности осуществить какой-либо “системный” и индивидуальный подход к выбору фамилий. Где тут в спешке размышлять о соответствии фамилии данному еврею? Один аудитор брал подряд названия понравившихся ему зверей, другой - минералов, третий - цветов. Это творчество развлекало аудиторов, внося некоторое оживление и разнообразие в рутинную, скучную процедуру составления ревизских “сказок”.

В результате этих “сказок” созданные в спешке фамилии начинали жить своей, сугубо еврейской жизнью, скитаясь из одного местечка в другое, переселяясь из страны в страну. Фамилии вписывались новыми чиновниками в новые удостоверения еврейской личности с новыми ошибками и искажениями. В результате, например, из Шапиро (через Спиро) получался Шпаро, а из австрийца (Österreich) - Ойстрах.

Постепенно в России сложилась бытовая методология безошибочного распознавания еврейских фамилий. Когда Левенбук и Лившиц вместе с Хайтом и Курляндским готовили в брежневские времена радиопередачу “Веселый спутник”, тотчас же начальство указало им на “несоответствие”, объяснив, что четыре еврейские фамилии в одной маленькой передаче - слишком много. На советском радио хорошо понимали - только ленивый не сможет тотчас угадать, что за граждане носят такие фамилии. Но существуют варианты и последнее. Относительно поверхностный, морфологически “неразвитый” слой составляют в еврейской среде русские фамилии, которые образуют группу т.н. “фамилий-двойников”; при составлении ревизских “сказок” их получали (надо полагать, отнюдь не бесплатно) благонадеж-

ные, т.е. богатые евреи: Лапин, Добрынин, Дружинин и т.п.

Многие фамилии-двойники также возникли при крещении кантонистов, которым меняли и имена, и фамилии. “Донесения о крещении заполнены этими превращениями: был Йосель Левигов - стал Василий Федоров, был Самуил Новосельский - стал Александр Александров... Мовша Пейсахович - Григорий Павлов...”. Окрещенных можно было как-то выделить по подобию отчества и фамилий: Сергей Иванович Иванов, Тимофей Степанович Степанов. Однако такое подобие нередко встречалось и у русских.

Давали кантонистам и фамилии (сами по себе искусственные) крестивших их священников: Воскресенский, Преображенский. Так изобретались “двойные” искусственные фамилии. Давали порой и обычные широко распространенные русские фамилии: Киселев, Орлов, Кузнецов.

Что же касается фамилий-двойников на основе немецкой морфологии, то чаще всего - это весьма “поверхностные” двойники, фамилии, обычно несколько странные для немецкого уха, или нелепые по смыслу, а поэтому достаточно хорошо различимые: Риндкопф (телячья голова), Ихзельбест (я самый), конструкция типа “тяни-толкай”, например: Питчпатч (шупай-смазывай) и даже такая замысловатая абракадабра как Температурвехзель (изменение температуры). Понятно, что скрывалось за нарочито благозвучными германоязычными фамилиями: Фогельзант (птичья пение), Вольгерух (приятный запах).

Но встречаются и полные совпадения. Об одном из них рассказывает Ф. Кандель. В ноябре 1812 года еврея из Борисова Мовшу Энгельгарда по ложному обвинению в измене в пользу французов приказал повесить русский генерал Чичагов. “Через много лет после этого в Борисове случайно оказался некий русский генерал Энгельгард. Там он узнал, что в городе живет его однофамилец, Мордух Энгельгард, сын казенного “изменника”. Конечно, бравый генерал был весьма шокирован этим обстоятельством и добился, что недостойному еврею запретили носить благородную фамилию: Мордуху Энгельгарду велено было впредь именоваться Мордух Энгельсон. (С наименьшим успехом его могли бы обозвать Энгельсом. Интересно, понравилось бы это одному из главных апологетов пролетарского интернационализма, окажись он в достославном городе Борисове.)

Старый призрак В НОВЫХ ОДЕЖДАХ

Благосклонный читатель! Предыдущий выпуск журнала содержал пространственный обзор и оценку релятивистских идей мультикультурного общества, которые, являясь, на мой взгляд, одной из издержек демократии, широко распространились в нынешней Германии. Моя статья "Новый призрак" вызвала, однако, ожесточенные споры, причем не только среди читателей, но и в самой редколлегии журнала. Маттиас Шварц, представитель крайне левого крыла редколлегии "ЗЗ", написал даже полемическую статью под названием "Старый призрак в новых одеждах", опровергающую мою точку зрения. В этом номере, в силу все тех же издержек демократии, мы не можем не предоставить ему слова.

Игорь Полянский,
главный редактор Зеркала Загадок

Как только мы переходим к еврейским фамилиям в русском "оформлении", тотчас возникают трудности идентификации. С одной стороны, среди собственно русских фамилий немало "следов" обрусения тех, чьи предки когда-то были немцами, шведами, голландцами, французами. С другой стороны, существует немало фамилий-двойников, носителями которых в равной степени могут быть и русские, и евреи. Поэтому нередко отделение еврейских фамилий от русских только по субъективным приметам и сопутствующим признакам приводит к ошибкам. Л. Мининберг приводит в своей книге о евреях в науке и промышленности СССР следующие примеры: "Например, известный авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин - еврей, а ученый Григорий Львович Шкирман - русский, директор крымской обсерватории Григорий Абрамович Шайн - русский, а директор Института Железнодорожного транспорта Анатолий Васильевич Горинев - еврей".

Что же касается отделения нерусских фамилий потомков обрусевших немцев или шведов от русифицированных фамилий потомков русских евреев, то здесь требуется достаточно углубленный ономастический анализ. Еще сложнее обстоит дело с фамилиями-двойниками. Например, существует полное совпадение и имени, и отчества, и фамилии двух военных инженеров, двух контр-адмиралов: Михаила Иосифовича Яновского, который родился в 1902 году в городе Витебске и Михаила Иосифовича Яновского, который родился в 1888 году в Новгороде. Первый из них еврей, второй - русский. Тут уже любая языковедческая экспертиза вряд ли сможет дать что-нибудь дельное. А вот место рождения может оказаться вполне характеристическим признаком (и то только в том случае, если год рождения приходится на первые десятилетия после 1845 г.).

Многообразие, языковая и морфологическая многогранность, большая доля искусственных конструкций делают из еврейских фамилий трудный, подчас головоломный, но очень увлекательный предмет изучения.

Продолжение следует.

Прошлым летом физик Алан Соакель опубликовал в известном нью-йоркском журнале деконструктивизма и "постмодернистских теорий" "Social Text" статью, в которой доказывал, что математические формулы сконструированы социально, и поэтому не могут являться "абсолютными истинами". Надо сказать, заявлению этому никто не удивился. Однако, спустя несколько недель тот же ученый опубликовал самопровержение: все тезисы, выдвинутые в его статье, неверны и вообще выдуманы. А тот факт, что абсурдности его утверждений не заметил ни один из "постмодернистских ученых", якобы, показывает, как "произвольны" их "политически корректные" методы.

В "Зеркале Загадок" №6 Игорь Полянский опубликовал статью "Новый призрак. Краткий курс истории мультикультури". Сделал ли он это, намереваясь разоблачить противников методом Соакеля, остается пока неизвестным. По утверждению Полянского, после 2-ой Мировой войны по (Западной) Европе и (Западной) Германии в особенности, бродит призрак "мультикультури", а идеологи "культурного релятивизма" отличаются от идеологов нацизма лишь тем, что они подменили понятие "нация" понятием "культура". Поскольку "мультикультуриализм" за каждой культурой признает право на существование без того, чтобы оценивать ее как стоящую "ниже" или "выше", это, якобы, ведет к отмене универсальных прав человека. По мнению Полянского, лозунгом "Все относительно" сторонники культурного релятивизма узаконивают любую дискриминацию, любое преступление как "обусловленные культурой". Такое понимание "постмодернизма" является, на мой взгляд, ошибочным.

Во Франции, где сформировалось

это философское направление, "постмодернизм" явился не только противодействием марксистской идеологии, но и наступлением на "модернистское" мышление, пытавшееся с помощью разума навести порядок в противоречивом мире. Известнейший французский теоретик Мишель Фуко анализировал это мышление в многочисленных исследованиях. Он продемонстрировал, например, как в политических целях использовалась мнимая "научная объективность". (Советская психиатрия является типичным примером.)

Английский социолог Зигмунд Бауман сравнил государство "модерна" с садовником, который все время пытается установить (постановить), какие растения являются сорняками, а какие - нет. Объявленные сорняками подлежат уничтожению. Именно скепсис по отношению к такому мышлению породил "постмодернизм". Дело, следовательно, было не в том, чтобы ставить под сомнение ценности "модерна", такие, как просвещение и гуманизм, а в том, чтобы пересмотреть "модерн" как евроцентристскую практику и "логоцентристский" образ мышления.

"Культурный релятивизм" в этом контексте означает вовсе не релятивацию прав человека во имя "исконных культур", а релятивацию "культурных" различий как обусловленных исторически и политически. Он отрицает и существование "последней объективной инстанции, за рамками которой начинаются другие миры, другая объективность" и которой автоматически подчинена человеческая личность. То есть действует строго противоположно тому, что утверждает о нем Полянский.

Что же касается Германии, то не могу не согласиться с оценкой И. Полянского. До 70-х годов "постмодернизм" не находил здесь практически

никакого резонанса. Когда некоторые основные его понятия проникли в немецкое общество в 80-х и 90-х годах, они сразу же получили здесь ложное развитие, приобрели совершенно не то значение, какое имели первоначально. Например, в начале 80-х годов, "мультикультурализм" явился для государственных инстанций желанным предложением сменить провалившуюся в ФРГ стратегию ассимиляции иностранцев на новую концепцию. Поразительно, что использован он был не для преодоления правовой и социальной дискриминации, а наоборот с тем, чтобы классифицировать дискриминацию как "свойство чужой культуры".

Левые и "зеленые" политики в области культуры некогда переняли эту "социально-педагогическую" концепцию по имени "мультикультури" и прославляли сосуществование множества "чужих культур" в Германии как "обогащение". На самом же деле, они воспроизвели древний колониалистский образ "хорошего дикаря", который очаровывал экзотическим фольклором. Ни одна правовая проблема политики по отношению к иностранцам при этом решена не была. Когда же с объединением Германии национализм, расизм и паника перед "потокм политических беженцев" приняли невиданные размеры, наполнение понятия "культура" этническим и националистическим содержанием было уже неудивительным.

Гражданская война в Югославии стала для консервативных и социал-демократических политиков примером того, что мирное сосуществование этнических и культурных меньшинств, якобы, невозможно. "Мультикультурная" Югославия явилась, таким образом, пугающим призраком для немецкой внутренней политики. Выступления "нормальных" немецких граждан против иностранцев были использованы для ужесточения закона о политических беженцах, закрытия восточных границ и провозглашения концепции "мультикультури" как несостоятельной.

В результате образ "мультикультури" сложился из вполне традиционных националистических предубеждений, а понятия "культурный релятивизм" и "политическая корректность" зазвучали не менее угрожающе, чем когда-то "красная опасность" или "еврейский большевизм". Так "государство-садовник" им же самим созданный призрак "мультикультури", использовало для того, чтобы после объединения страны ужесточить и ограничить либеральные законы Федеративной Республики.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В...

АТЛЕЛВЕ

по ремонту обуви

Быстро и качественно



Stettiner Str. 62

13357 Berlin

Tel.: 4 94 60 54

РУССКИЕ КНИГИ

Kantstraße 82

10629 Berlin

Tel.: 3 23 48 15

Большой выбор книг и русских видеофильмов по самым низким ценам в городе

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал

Подписка: "22", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61 440, Tel.: 03-39 45 25

Алеф - Бет

газета еврейской общины земли Бранденбург

Jüdische Gemeinde Land Brandenburg, Redaktion "Alef-Bet", Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 16, 14473 Potsdam, Tel. (0331) 8888114, 8888115

RtvD - новое русское телевидение

(030) 76 70 51 55

Интервью, репортажи, новости культуры, советы и консультации, перегачи гля *spreekana1*

Понедельник - 09.30; Четверг - 22.00;

Пятница - 20.30; Воскресенье - 17.00

В журнале были использованы иллюстрации из книг: В. Хлебников "Утес из будущего" Калм. книжн. изд.; Ю. Лебедев "Тургенев" Молодая Гвардия; J. Baltrusaitis "Der Spiegel" Anabis-Verlag; "Sigmund Freud" Suhrkamp Verlag; В. Ernst "Der Zauberspiegel des Escher"

Плакаты
Буклеты
ФОТО

РЕКЛАМА

Тел.: (030) 2 92 45 93
Mail: pavel@vossnet.de



Научное общество при Еврейской Общине Берлина.

В Берлине при Еврейской Общине впервые в истории эмиграции образовано Научное общество. Оно объединяет ученых из бывшего Советского Союза. Среди них - доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, академики, лауреаты государственных и почетных академических премий.

Общество поставило перед собой задачу попытаться в той мере, насколько это будет возможно, восстановить в Германии уничтоженную Холокостом еврейскую научную и интеллектуальную среду, открыть молодому поколению привлекательность, важность и полезность научной работы, увлечь молодых в мир неизвестного и интересного, обогатить интеллектуальный потенциал Еврейской Общины Германии.

Далеко не у всех эта идея встречает понимание и поддержку. Приходится выбирать доступные в эмиграции формы работы, к числу которых относятся бесплатные консультации учеников, которые дают доктора наук, профессора, чтение лекций членам Еврейской Общины и учащимся, проведение научных теоретических работ, требующих лишь карандаша, бумаги и компьютера.

В 1998 году впервые учеными-эмигрантами будет выпущен сборник научных работ "Наука и инженерная мысль". Члены общества представляют результаты своих исследований, сделанных как в эмиграции, так и в последние годы в бывшем СССР, которые не утратили, однако, своей актуальности. Конечно,

мы не строим иллюзий, что нам удастся выполнить все поставленные задачи в полной мере. Однако мы хотим показать, что восстанавливать еврейскую научную среду необходимо, а при соответствующей поддержке властей и общества - возможно.

Заявка, №



Председатель Научного общества,
профессор, докт. техн. наук, лауреат премии
Академии Наук Украины
Ян Беленький.

...Schuheexpress

Ремонтируем обувь,

чемоданы, сумки,

кожаные куртки,

плащи. Точим ножи,

ножницы

Rungiusstr. 97

12347 Berlin

Tel.: (030) 6 06 98 97

МПФ Гознак. 1979. Зак. 79-3083.

ШАПОМ

община мессианского иудаизма
приглашает на свои встречи

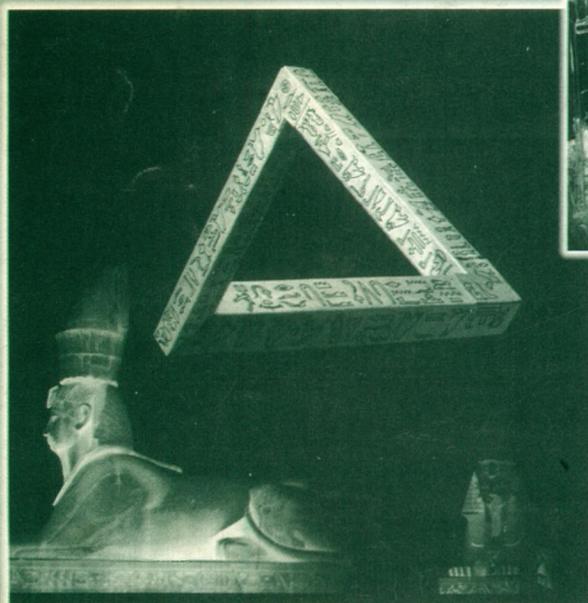
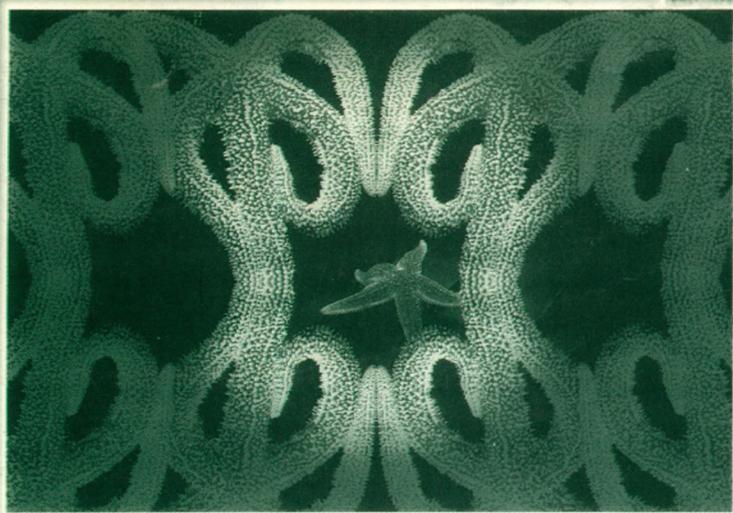
Мы верим, что Иешуа хаМашиах - традиционно Иисус Христос - является обещанным Мессией Израиля и Спасителем всего мира. Мы - счастливые люди, потому что живем в мире и общении с Богом, и счастливые евреи, потому что знаем истинного Мессию.

Если Вам не безразличен вопрос Ваших взаимоотношений с Богом, вопрос предельно важный для Вашего настоящего и будущего, если Вы интересуетесь предназначением и историей еврейского народа, то мы ждем Вас и будем рады Вас видеть по адресу:

WERBELLIN STR. 32,
BERLIN-NEUKÖLLN
(U-Bahn Rathaus Neukölln)

Наши встречи проходят по субботам в 14.00 и средам в 18.00. У нас Вы сможете получить в подарок Библию и дополнительную литературу.

"... мы нашли Того, о Ком писали Моисей в Торе и пророки. Иисуса, сына Иосифа, из Назарета..." (Иоан 1:45).



Фотовыставка "33"
Павел Сверглов
КОМПОЗИЦИИ

pavel@vossnet.de
-49 30/ 2 92 45 93